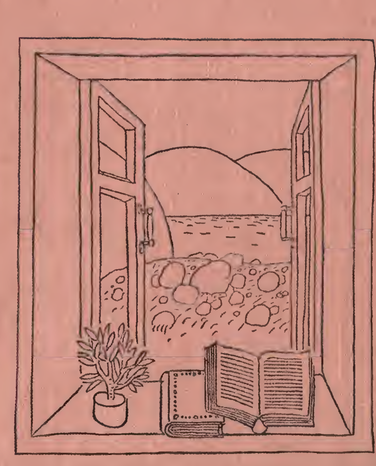
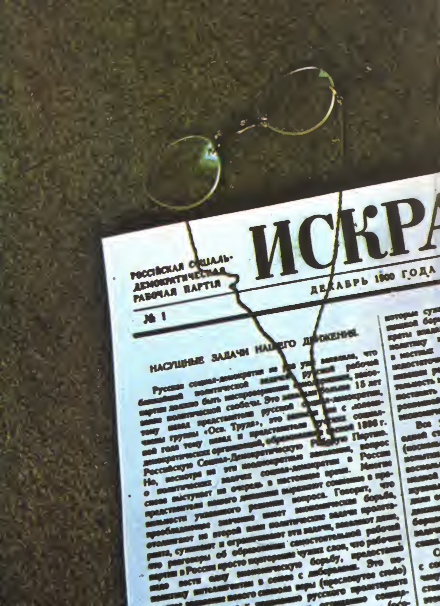
Каменщик революции




РОССІЙСКАЯ СОЦІАЛЬ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТІЯ
№ 1
ИСКРА
ДЕКАБРЬ 1900 ГОДА
НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ НАШЕГО ДВИЖЕНІЯ



Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1981



СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

ПР

Франц Таурин

КАМЕНЩИК РЕВОЛЮЦИИ

ПОВЕСТЬ
О МИХАИЛЕ ОЛЬМИНСКОМ

Р2
Т23

Основная тема творчества Франца Таурина — современность (романы «Ангара», «Гремящий порог», «Путь к себе», «Иначе нельзя», «У времени в плену»).

Но в последние годы писатель все чаще обращается к историко-революционной теме (романы «Каторжный завод», «Байкальские крутые берега», «Партизанская богородица», вышедшая в нашей серии повесть «Без страха и упрека» о Николае Серно-Соловьевиче).

Новая его книга посвящена жизни и деятельности человека, беззаветно преданного делу революции, одного из ближайших соратников Ленина — Михаила Степановича Ольминского (Александрова).

Книга повествует о подпольной революционной работе героя, о долгих годах, проведенных им в тюрьме и ссылке. В центре повествования — годы совместной с В. И. Лениным борьбы за создание революционного авангарда российского рабочего класса — партии коммунистов.

$Т \frac{10202-007}{079(02)-81}$ 245—81 0902030000

В Вашем лице съезд приветствует всю старую гвардию РКП, в тягчайших условиях царизма закладывавшую фундамент партии российского рабочего класса.

Из приветствия XII съезда РКП(б) Михаилу Степановичу Ольминскому. Апрель 1923 г.

В четверг 25 сентября...

Михаил Степанович был до глубины души возмущен услышанным и, как только вошел к себе в кабинет, даже не сняв пальто, сразу взялся за телефон.

Позвонил управляющему делами Совнаркома Бонч-Бруевичу. Ответили, что он на докладе у Ленина.

— Передайте, пожалуйста, Владимиру Дмитриевичу, что у меня к нему крайне срочное и важное дело.

И только после этого прошел к стоящей в углу у двери вешалке и снял свое когда-то щегольское, а теперь уже сильно поношенное пальто.

Вернувшись к столу, тут же позвонил наркому здравоохранения Семашко:

— Николай Александрович! Безобразие, граничащее с преступлением! Сейчас мне рассказали, что на Паве-

лецком вокзале раненые и тифозные красноармейцы лежат прямо на полу. Никакой помощи! Даже воды нет, чтобы напиться!

— Все больницы и лазареты переполнены,— угрюмо сказал Семашко.— Сейчас пошлю на Павелецкий врача и санитаров. Все возможное будет сделано.

Через несколько минут позвонил Бонч-Бруевич. Выслушав Михаила Степановича, сказал:

— За тех, что на Павелецком, можете, Михаил Степанович, не тревожиться. Если Николай Александрович сказал, значит, сделает. А я сейчас распоряжусь, чтобы проверили все вокзалы... В конце дня вам сообщат, какие меры приняты. А то, я вас знаю, не уснете всю ночь...

— Не усну...— печально подтвердил Михаил Степанович, поблагодарил Бонч-Бруевича и положил трубку.

Он углубился в лежащие перед ним бумаги, но через несколько минут пришлось оторваться от текущих дел.

Принесли свежий, еще пахнущий типографской краской номер «Правды».

Не просмотрев очередного номера «Правды», Михаил Степанович просто не мог начать работать. Эта газета была лично близка ему. Он в числе первых редакторов стоял у ее колыбели.

Быстро пробежал первые страницы и задержался на объявлении, вынесенном на четвертую полосу.

> «Московский комитет РКП (большевиков) приглашает нижеследующих товарищей на заседание, которое состоится в четверг 25 сентября ровно в 6 час. вечера в помещении — Леонтьевский переулок, д. № 18».

Фамилии Ольминского в списке приглашаемых на совещание не было, но секретарь Московского комитета Владимир Михайлович Загорский вчера вечером звонил на квартиру и просил Михаила Степановича быть обя-

зательно, сказав, что на совещании партийному активу сообщат самые подробные данные о только что раскрытом ВЧК белогвардейском заговоре, вторым же вопросом будет обсуждаться работа партийных школ, и участие старого партийного пропагандиста необходимо.

Вероятно, именно по этой причине часа через полтора, когда Михаил Степанович уже с головой погрузился в текущие дела своего комиссариата,— он работал в Комиссариате имуществ республики и исполнял весьма хлопотные обязанности полномочного комиссара Московского Кремля, и на его плечи кроме многих иных текущих дел возложена была забота о сохранении огромных материальных и художественных ценностей, заполнявших помещения и подвалы кремлевских дворцов и палат,— ему позвонили из Московского комитета партии, и женский голос сообщил, что Владимир Михайлович просил напомнить: заседание в МК ровно в шесть часов.

Михаил Степанович поблагодарил за напоминание и сказал, что непременно будет.

Ресторанчик «Поплавок» на Кадашевской набережной, когда-то бывший излюбленным прибежищем приказчиков, ремесленников и разного мелкого служилого люда, с некоторых пор стал пользоваться недоброй славой у окрестного населения, особенно после того, как летом этого нелегкого девятьсот девятнадцатого года милицейский пост, что у Чугунного моста, несколько раз вылавливал из воды покойников, распростившихся с жизнью явно не по своей воле. Жители близлежащих Якиманки, Полянки и Ордынки с унизавшими их переулками, так же как жители набережных и Болота, избегали заходить в «Поплавок», который однако же не пустовал, у него завелась своя клиентура.

Открывался ресторан в одиннадцать часов утра, но заполнялись оба его зала обычно только к вечеру. Днем

посетителей было мало. Немного их было и сегодня. Особенно в зале, смотревшем на Стрелку. Со стороны Нескучного сада дул резкий порывистый ветер, позванивая стеклами, плохо закрепленными в рассохшихся переплетах оконных рам, выдувая остатки тепла из помещения. Завсегдатаи «Поплавка», учитывая это обстоятельство, проходили сразу в другой зал.

И лишь двое отважились остаться в пустом носовом салоне. Сидели они за столиком у самого окна, одному были видны в окно кремлевские купола, другому — кирпичные корпуса и трубы кондитерской фабрики.

Тот, что сидел лицом к Кремлю — ему же был виден вход в салон,— проступал на фоне голубеньких обоев внушительным темным пятном: рослый, плечистый мужчина в черной кожаной куртке и офицерских сапогах, на его крупном лице, обросшем короткой густой бородою, выделялись большие, круглые, как у филина, глаза; он слегка заикался и каждый раз при этом вскидывал голову, отчего взметывались над широким лбом темные, плохо расчесанные кудри.

Сидевший напротив внешностью своей был полной его противоположностью — почти столь же высокий, но тощий и узкогрудый, он сидел ссутулясь, касаясь рыжеватым клинышком бороды кромки столешницы; на бескровном, землистого цвета лице казались чужими яростно горящие лихорадочным блеском глаза.

Рослый здоровяк в черной кожанке был одним из главных руководителей недавно сложившейся подпольной организации анархистов. Звали его в настоящее время Петром Соболевым. Собеседник его, Донат Черепанов, входил в руководящее ядро партии левых эсеров.

Анархист строго выговаривал эсеру:

— Предупреждали меня не связываться с вашей бражкой. И правильно предупреждали. Когда было условлено?

— Вам очень хочется, чтобы я за собой хвост привел? — огрызнулся Черепанов.

— Веди, если жизнь надоела...— хмуро усмехнулся Соболев. И, немного помолчав, спросил: — А что, был хвост?

— Может быть, просто показалось...— Черепанов пожал плечами.— Но береженого бог бережет. Пришлось покрутиться вокруг Балчуга и подойти по Кадашевской.

Он ждал, что его предусмотрительная осторожность заслужит одобрение, но собеседник молчал, и Черепанов решил набить себе цену:

— Щепкин, председатель «Национального центра», на чем сгорел? Хвоста к нему привели. И амба...

— Хватит! — оборвал Соболев.— Давай без болтовни, ближе к делу!

Черепанов спросил:

— Сегодняшнюю «Правду» читали?

— Читал «Известия»,— ответил Соболев.

— Это одно и то же. Текст идентичный. Как видите, сведения мои оказались совершенно точными.

— Самого-то не будет,— произнес Соболев.

— Будет! — уверенно возразил Черепанов.

— Не поименован.

— Ишь чего захотели! — язвительно усмехнулся Черепанов.— Мало вам, что всю партийную знать перечислили?

Лицо его исказилось злобной, почти болезненной гримасой, и он процедил сквозь зубы:

— Не боятся! — и, как бы успокаивая себя, закончил: — А напрасно...

— А чего им вас бояться? — с откровенным пренебрежением отозвался Соболев.— Вы все давно уж хвосты поджали. Только вас и бояться!

По землистым щекам Черепанова пошли темные пятна. Словно задыхаясь, он выдавил вопрос:

— А вас?

— Нас они еще не знают,— как-то врастяжку произнес Соболев.— А когда узнают, некому будет бояться.

Черепанов снова скривился: столько презрения было в голосе анархистского вожака. Но пришлось стерпеть. Пока нужны, вот как нужны! Без них с большевиками не совладать.

— Вы еще не знаете, зачем собираются товарищи большевики, какой вопрос будут обсуждать,— сказал он, загадочно улыбаясь.

— Какой? — равнодушно спросил Соболев.

Черепанов опасливо оглянулся и понизил голос:

— Об эвакуации большевиков из Москвы и сдаче Москвы Деникину. Теперь вы понимаете, до чего докатились товарищи комиссары!

— Это, конечно, собачья брехня,— спокойно возразил Соболев.— Не за этим они собираются. Только нам это безразлично. Они пусть обсуждают, что хотят, а мы будем с ними разговаривать на языке динамита.

— А вы успеете обернуться Москва — Красково и обратно? — деловито осведомился Черепанов.

Соболев, насупив брови, метнул на него пристальный и тяжелый взгляд:

— Много знаете...

— Мы же верные союзники в борьбе за революционные идеалы! — высокопарно произнес Черепанов.— Союзники на жизнь и на смерть!

— Умирать не собираемся,— жестко сказал Соболев.— Они пусть умирают... Ну, хватит, однако, воздух ворошить, господин хороший! Давай ближе к делу! Мне нужен план помещения и все подходы к нему.

— Обойдемся без бумаги,— сказал Черепанов.— В этом здании, Леонтьевский, восемнадцать, раньше помещался наш ЦК. Так что, понимаете, я знаю здание и все подходы к нему как свои пять пальцев...

— Да я-то не знаю! — грубо оборвал его Соболев.
— Я вас сам проведу,— сказал Черепанов,— и укажу самый удобный подход.
— Не сдрейфишь?
— Наша партия не меньше вашей заинтересована в успешном исходе операции.
— Меньше ли, больше ли, будет видно,— проворчал Соболев и встал из-за стола.

Соболев знал, что Черепанов солгал ему, сказав, что на совещании в Московском комитете будет обсуждаться вопрос об эвакуации Москвы. Впрочем, ложь эта могла пригодиться, и вожак анархистов не был в обиде на своего эсеровского приспешника.

А вот про Щепкина сказано было точно. Замели контрика. Нелегальному центру анархистов не были еще известны подробности провала «Национального центра», но слух об аресте его председателя Щепкина уже прошел по подпольной Москве. Поговаривали даже, что Щепкин сам явился в ВЧК с повинной.

В действительности все было по-иному.

Три дня назад, уже под вечер, оборванный и грязный инвалид на гулкой деревяшке, с нищенской сумою через плечо, постучался в дверь одноэтажного каменного флигеля, теснившегося в глубине захламленного двора в одном из переулков Замоскворечья между Ордынкой и Полянкой.

Во флигеле жил бывший купец первой гильдии и бывший гласный городской думы Николай Николаевич Щепкин. Новая власть, экспроприировав его торговое заведение и трехэтажный каменный дом, великодушно оставила в личном его пользовании довольно просторный флигель.

С утратой некогда принадлежавших ему богатств

гражданин Щепкин как будто смирился и даже поступил на государственную службу в одно из учреждений, ведавших продовольственным снабжением жителей Москвы, где его многолетний опыт по торговой части мог найти себе достойное применение.

По единодушному свидетельству всех соседей, Николай Николаевич вел жизнь скромную и тихую, как и подобает мелкому советскому служащему. Замечено было лишь, что к нему чаще, нежели к другим соседям, стучатся в двери нищие и убогие. Стало быть, жалостливый, доброй души человек.

Инвалида с деревяшкой тоже приняли приветливо. Сам хозяин дома встретил его в сенях, облобызал троекратно и провел в дальнюю угловую комнату, отделенную от прочих широким коридором и служившую как бы кабинетом.

Инвалид снял деревяшку и прошелся несколько раз из угла в угол, разминая затекшую в сгибе ногу, потом попросил пить, осушил принесенный ему ковш хлебного кваса и только тогда сказал Николаю Николаевичу, что готов к докладу. Хозяин гостеприимно предложил сперва подкрепиться с дороги, но мнимый инвалид отказался, сказав, что у него времени всего один час, даже и того не осталось, потому что в девятнадцать ноль-ноль должен он быть на Павелецком вокзале.

— Пусть положат мне чего-нибудь посущественнее,— сказал он, протягивая суму Николаю Николаевичу.— В дороге перекушу.

Николай Николаевич взял суму и, машинально оберегаясь, как бы не коснуться ею полы светло-серого пиджака, вышел из комнаты. Быстро вернулся и сказал, что сума будет собрана в дорогу.

— Садитесь ближе,— сказал гость и усмехнулся,— я приучил себя к мысли, что у каждой стены есть уши.

Гость сидел в глубоком кожаном кресле, которое

трудно было сдвинуть с места, и Николай Николаевич переставил венский стул поближе к креслу. Но не успел еще усесться, как из коридора донеслись четкие быстрые шаги, дверь открылась, и через порог в кабинет шагнул высокий человек... в форме командира Красной Армии.

И в тот же миг взметнулась вверх рука инвалида с наганом. Какой-то малой доли секунды не хватило ему, чтобы продырявить череп красного командира. Но Николай Николаевич с удивительным для его грузной фигуры проворством, перехватил руку инвалида, крикнув приглушенно:

— Все свои!

После чего попросил обоих убрать оружие (командир тоже изловчился выдернуть из кобуры длинноствольный маузер) и поспешно представил их друг другу:

— Господин ротмистр, доверенное лицо его высокопревосходительства генерала Деникина. Господин штабс-капитан, помощник начальника по строевой части курсов красных командиров, член нашего боевого штаба. Прошу вас, господа, взаимно довериться друг другу, ибо мне известна ваша преданность нашему святому делу!

Ротмистр криво усмехнулся и опустился в кресло. Штабс-капитан, не спуская с него пытливого взгляда, тоже уселся на предложенный ему стул.

— Вы можете, господин ротмистр, говорить без стеснения,— напомнил Николай Николаевич,— как я уже имел честь сообщить вам, господин штабс-капитан — член нашего боевого штаба. Это очень хорошо, что он присутствует при нашей встрече. Он лучше поймет все, что вы сообщите, и точнее расскажет о наших делах. Прошу вас, господин ротмистр.

Посланец Деникина коротко охарактеризовал обстановку, несколькими географическими пунктами обозначил линию фронта, прибавив, что за истекшие двое суток она, безусловно, еще более приблизилась к столице,

и особо подчеркнул, что главнокомандующий генерал Деникин требует немедленных и достаточно энергичных акций в Москве.

— Что я могу доложить его высокопревосходительству? — спросил он.

— Выступление состоится в течение ближайших трех дней...— сообщил штабс-капитан.

— Точнее! — строго перебил его ротмистр.

— Пока это предел точности,— с еле уловимой ноткой раздражения в голосе ответил штабс-капитан.

— Как же мы узнаем о начавшемся выступлении? — столь же строго спросил ротмистр.

Штабс-капитан твердо выдержал его взгляд. Отвечал четко, но сухо:

— Узнаете немедленно. Основная цель нашего удара — захватить телеграф и радио. Силы наши недостаточны, чтобы удержать власть в Москве, но несколько часов мы продержимся. И как только в наших руках окажутся радио и телеграф, немедленно объявим на весь мир, и прежде всего по всем фронтам, что Советская власть пала. Мы уверены, что это откроет дорогу в Москву генералу Деникину.

— Родина не забудет вашего подвига! — торжественно произнес ротмистр и тут же спросил: — Но вы сказали, что силы ваши недостаточны. Каким же способом надеетесь достичь успеха? Я имею в виду захват телеграфа и радио.

— Посредством отвлекающего маневра, господин ротмистр,— с подчеркнутой любезностью ответил штабс-капитан. После короткой паузы добавил: — Некоторые детали оперативного плана еще уточняются. Полагаю, для штаба верховного главнокомандующего эти детали не представляют интереса. Важен финал. Чтобы на всех фронтах получили сообщение, что власть Советов свергнута и Москва освобождена от большевистского ига. Не

так ли, господин ротмистр? Так вот, как я уже имел честь вам сообщить, в течение трех суток, считая с завтрашнего дня, такое сообщение будет передано из Москвы. Ну а все дальнейшее, в том числе и наша жизнь, господин ротмистр, будет зависеть от вас, от оперативности вашего штаба, от того, как скоро придете вы в Москву довершать начатое нами.

— Мы поспешим,— заверил ротмистр.

— Мы будем вас ждать,— сказал штабс-капитан и, обернувшись к молча слушавшему Николаю Николаевичу, продолжил: — Теперь о наших делах. Есть сведения, что за вашим домом установлено наблюдение. Пользоваться им как явкой, тем более для заседаний штаба, нельзя. Завтрашнюю встречу проведем точно в назначенное время, но в кафе в Настасьинском переулке. Засим разрешите откланяться: я должен быть на вечернем разводе.

Штабс-капитан, он же помощник начальника командных курсов Красной Армии, постарался незаметнее проскользнуть на улицу.

В подворотне он дождался, когда мимо прошла какая-то веселая компания, и как бы влился в нее.

И все же появление его не осталось незамеченным. Из арки на другой стороне переулка вышли четверо. Двое пошли за красным командиром, который вместе с веселой компанией удалялся в сторону Большой Полянки. Двое других скрылись во дворе, из которого только что вышел заинтересовавший их красный командир. Они знали, куда идти, и, вероятно, знали пароль. Во всяком случае, их сразу впустили в дом. Они прошли прямо в угловую комнату.

На сей раз ротмистр не успел выхватить наган. Мгновения, потраченного им на то, чтобы кинуть вопрошающий взгляд на хозяина дома, оказалось достаточно незваным гостям.

Ротмистра обезоружили и, заломив ему руки за спину, надежно связали их. Николай Николаевич сам протянул руки, но чекисты, поглядев в его побелевшие от страха глаза, только усмехнулись.

На первом же допросе Николай Николаевич выдал всю свою организацию.

К утру были арестованы все члены боевого штаба и разоружены все подчинявшиеся им воинские подразделения.

«Национальный центр» прекратил свое существование.

Секретарь Московского комитета Владимир Михайлович Загорский готовился к вечернему заседанию. Заседанию, как это сказано было в объявлении, опубликованном в «Правде» и «Известиях», важному и необходимому.

Владимир Михайлович еще утром распорядился, чтобы работники отдела пропаганды тщательно проверили, все ли приглашенные на заседание могут явиться, и теперь ему докладывали о результатах проверки. Несколько человек были в отъезде, двое в больнице. Владимир Михайлович тут же назвал фамилии товарищей, которых надо пригласить взамен отсутствующих, и сказал, чтобы их немедленно известили.

Сегодняшнему заседанию он придавал особое значение. Положение в Москве было предельно тревожным. Деникин подступал к Воронежу. Все наличные силы были брошены на деникинский фронт. В самой Москве почти не осталось воинских частей. Больше половины коммунистов Москвы — почти все, кто способен носить оружие,— ушли на фронт. Создалась исключительно благоприятная обстановка для возникновения подпольных контрреволюционных групп и для организации антисоветских заговоров.

Ленин в своей работе «Все на борьбу с Деникиным!», опубликованной 9 июля как «Письмо ЦК РКП (большевиков) к организациям партии» писал:

«Товарищи! Наступил один из самых критических, по всей вероятности, даже самый критический момент социалистической революции...»

Ленин призывал и разъяснял, предельно доступно для каждого труженика:

«Все силы рабочих и крестьян, все силы Советской республики должны быть напряжены, чтобы отразить нашествие Деникина и победить его, не останавливая победного наступления Красной Армии на Урал и на Сибирь. В этом состоит **основная задача момента».**

Ленин, ЦК партии требовали от всех коммунистов, всех сочувствующих им, всех честных рабочих и крестьян, от всех советских работников:

«...*подтянуться по-военному*, переведя *максимум своей работы*, своих усилий и забот *на непосредственные задачи войны*, на быстрое отражение нашествия Деникина, сокращая и перестраивая, в подчинение этой задаче, всю свою остальную деятельность.

Советская республика осаждена врагом. Она должна быть *единым военным лагерем* не на словах, а на деле».

Особенно выделял Ленин «разъяснение народу правды о Колчаке и Деникине».

Для Московского комитета, как для всех партийных организаций страны, как для всего рабочего класса, указания Ленина стали боевым приказом. Тысячи агитаторов и пропагандистов несли московским рабочим слова ленинской правды. На заводах и фабриках Москвы состоялись сотни митингов, лекций, бесед.

Особые условия вызвали к жизни такую специфическую форму массовой политической работы, как еженедельные общерайонные митинги. Проводились они регулярно: каждую пятницу, во вместительных помещениях,

в хорошую погоду прямо на площадях столицы. С речами на митингах выступали виднейшие деятели партии и правительства.

Сегодняшнее совещание и было, по сути дела, подготовкой к завтрашним очередным общерайонным митингам. На этих митингах надо было рассказать рабочим о раскрытом контрреволюционном заговоре, призвать всех тружеников столицы к укреплению революционной дисциплины и всемерному повышению бдительности, мобилизовать их на новые трудовые усилия во имя быстрейшего разгрома врага.

Поэтому на заседание были приглашены опытные и авторитетные работники партии. Именно им и предстояло выступить завтра на многолюдных митингах во всех районах Москвы.

Ровно за неделю до нынешнего четверга, то есть восемнадцатого сентября, уже под вечер, дежурный одной из подмосковных станций Московско-Киевской железной дороги случайно обнаружил стоящий на путях товарный вагон, вероятно отцепленный от недавно прошедшего поезда, проследовавшего в сторону Москвы.

По документам вагон не значился в числе прибывших на станцию. Устных распоряжений о нем также не поступало.

Дежурный внимательно осмотрел вагон со всех сторон и заметил, что на нем нет пломбы. А прислушавшись, установил, что в вагоне кто-то есть.

На первый стук дежурного никто не отозвался. Лишь после повторного стука дверь вагона раздвинулась и выглянул молоденький чернявый красноармеец в шинели внакидку.

Между дежурным и красноармейцем состоялся предельно лаконичный диалог:

— Что за вагон?
— Как видишь, на четырех колесах.
— Куда следует?
— Твое какое собачье дело!
— Я дежурный по станции.

Из глубины вагона что-то подсказали, и красноармеец ответил нехотя:

— В Одинцово.
— Что в вагоне?
— Срочный военный груз.
— Документы!

Красноармеец повернулся и сказал кому-то, невидимому в сумраке вагона:

— Буди, документы требуют.

Кого следовало будить, дежурный отчетливо не расслышал, но как будто бы «Ваську». Это несколько насторожило дежурного.

Но к проему двери подошел подтянутый командир, в новенькой форме с ремнями вперехлест, с маузером на бедре, и строго спросил:

— Кто такой?

— Дежурный по станции, товарищ командир! — расторопно ответил дежурный.

Время было военное, а среди командиров попадались нередко люди сильно нервные.

— Срочный груз,— сказал командир.— К утру должен быть на станции Одинцово.

И подал дежурному мандат.

На листе с печатным штампом «Московская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности» напечатано было на слепой машинке, что «дан сей мандат тов. Азарову, который командируется в города Брянск и Орел по весьма секретным делам». И дальше, как положено в столь важном документе: «предлагается всем советским,

военным, общественным и партийным организациям оказывать всяческое содействие...»

Разглядев штамп ЧК, дежурный не стал и читать дальше, вернул мандат товарищу Азарову и сказал, что немедленно узнает, какая есть возможность быстро отправить вагон в Одинцово, после чего вернется и доложит товарищу командиру.

— Груз секретный, так что зря о вагоне никому! — строго предупредил командир.

— Слушаюсь, товарищ начальник.

Проводив взглядом дежурного, командир отдал несколько странные распоряжения сопровождавшим груз двоим красноармейцам. Первому:

— Стой у двери и смотри в оба. Патрон в стволе, гранаты под рукой. К вагону никого не подпускай!

Второму:

— Приготовь запальную шашку. Поджигать буду сам.

— Думаешь, стукнет в ЧеКу? — спросил командира первый красноармеец.

— Черт его душу знает! — выругался командир.— На всякий случай. Если отдадим товар чекистам в руки, Петька всех нас отправит в штаб Духонина.

— А сами? — спросил второй красноармеец, снаряжавший запальную шашку.

— Врассыпную и в лес. В Москве не показываться. Сбор на даче в Красково.

Но тревога оказалась напрасной.

Минут через пять стоявший у двери красноармеец доложил командиру, широкими махами отмеривавшему бикфордов шнур из массивной бухты:

— Снова бежит к вагону.

— Один?

— Один.

— Подпусти.

Дежурный подбежал и, снова козырнув, доложил, что через несколько минут, самое большее двадцать, подойдет маневровый паровоз и доставит вагон до Окружной, а там подцепят к составу, который следует по Александровской дороге.

— Как фамилия? — спросил командир.

Дежурный растерялся:

— Чья?

— Свою помню. Твоя как фамилия?

— Петушков, товарищ начальник.

Командир строго и пристально оглядел железнодорожника с головы до ног.

— Смотри, Петушков, не кукарекай. Чтобы о вагоне никому ни гугу! Узнаю — вернусь, выщиплю крылышки!

— Что вы, товарищ начальник, разве я не понимаю...

— Ну иди, товарищ Петушков, встречай паровоз. И чтобы все по-быстрому!

В ту же ночь вагон с особо секретным грузом был доставлен на станцию Люберцы (Одинцово было названо на всякий случай — для отвода глаз) и загнан в дальний тупик. На утро к вагону подъехали две телеги, груженные сеном. Возчики и сопровождавшие груз красноармейцы быстро выгрузили из вагона два десятка деревянных, довольно тяжелых ящиков и упрятали их под сено.

Подводы с сеном выехали на Рязанское шоссе и часа через два благополучно добрались до дачного поселка Красково. Довольно долго кружили и петляли по узеньким проулкам и просекам, пока не подъехали к двухэтажной деревянной даче, стоящей в глубине густого сада. Там возчики дали короткий роздых лошадям, после чего снова выехали на шоссе и двинулись в сторону Коломны. Ни груза, ни сопровождающих его красноармейцев с ними уже не было.

На другой день Васька Азаров, теперь уже не в ко-

мандирской форме, а в отлично сшитой темной пиджачной паре, выехал в Москву в извозчичьей пролетке, запряженной резвым гнедым рысаком. В ногах у него стояли две корзины, наполненные отборными, одно к одному, ярко-красными яблоками.

Яблоки Васька Азаров отвез в большой дом на углу Тверской и Козицкого переулка. В этом доме в просторной комнате полуподвального этажа проживал дружок его и соратник по подпольной организации Сашка Розанов, работавший, а точнее сказать, числившийся токарем в ремонтно-механической мастерской, расположенной в одном из Вятских переулков, неподалеку от Савеловского вокзала.

Михаил Степанович, верный своей привычке никуда и никогда не опаздывать, выработанной долгими годами нелегальной подпольной работы, пришел на заседание за десять минут до назначенного срока.

В вестибюле двухэтажного особняка в Леонтьевском переулке было оживленно и шумно. Стояли кучками и переговаривались. Всех интересовало, будет ли на заседании Ленин.

О том, какой вопрос будет обсуждаться на заседании, большинство собравшихся знало или по крайней мере догадывалось. Сообщение Всероссийской Чрезвычайной Комиссии о раскрытии контрреволюционного заговора было опубликовано во всех центральных газетах еще два дня назад. Все понимали, что обойти молчанием такое событие невозможно. И ждали подробностей, так как всем предстояло завтра выйти на общерайонные митинги и собрания по фабрикам и заводам.

К Ольминскому подошла пожилая женщина, секретарь партийной ячейки крупной текстильной фабрики.

— Вы не знаете, Михаил Степанович, кто будет выступать с сообщением? Сам Дзержинский?

— Этого я не знаю,— ответил Михаил Степанович,— но, конечно, это будет вполне информированный товарищ. И, конечно, он сумеет дать исчерпывающий ответ на все наши вопросы.— И, добродушно улыбнувшись, добавил: — Поспешим в зал, а то как бы нам с вами не остаться без места.

Ровно в шесть часов заседание Московского комитета РКП(б) было открыто.

Чуть позже высокий плечистый человек, в кожаной куртке и хромовых сапогах, с выбивающимися из-под фуражки прядями жестких темных кудрей, прошел во двор четырехэтажного кирпичного дома по Казарменному переулку. Он огляделся и, не обнаружив ничего подозрительного, спустился в одну из квартир полуподвального этажа.

Следуя друг за другом с небольшими интервалами, по пять — десять минут, в ту же квартиру спустились еще три человека.

Последним явился красавчик Яша Глагзон. Он остановился на пороге, франтовато одетый, в отличном темно-сером костюме и новеньком щегольском макинтоше, в кепочке с прямым козырьком и хлыстиком в руке, и отвесил общий элегантный поклон.

— Не торопишься. Жди тебя! — сердито буркнул Мишка Гречаников, сутулый и длиннорукий, с копной темных, давно не чесанных волос.

Яша Глагзон небрежным жестом пригладил ровно подстриженные светлые усики, не торопясь, достал из жилетного кармана серебряную луковицу, щелкнул крышкой и, глядя сверху на угрюмого Мишку Гречаникова, возразил приятным баритоном, слегка картавя:

— Дорогой коллега! Ваши упреки неосновательны. Я прибыл ровно за две минуты до назначенного срока.

— Вырядился, как жоржик,— проворчал Мишка.

— Мы же собираемся навестить интеллигентных людей,— возразил Яша Глагзон.— А вот вас, дорогой коллега, могут и близко не подпустить. Вы, извините за откровенность, обмундированы, как босяк.

Мишка Гречаников был самым молодым во всей компании; ему лишь недавно исполнилось девятнадцать. Но так разговаривать с собой он позволял только Яше Глагзону. Все остальные, даже сам Соболев, его побаивались. Мишка прибыл в Москву из штаба Махно и прошел там хорошую выучку. У всех на памяти был случай, когда в ответ на какую-то пакостную шутку Сашки Барановского, вместе с ним прибывшего от Махно, Мишка выхватил револьвер и продырявил Сашке левое ухо. После этого случая Мишку Гречаникова остерегались задевать.

Соболев положил конец дружескому разговору:

— Хватит языки чесать! Времени осталось в обрез. Слушай разнарядку и запоминай. Барановский идет со мной. Яше Глагзону начиная с половины восьмого обойти все улицы и переулки вокруг Леонтьевского. Если нет засады, ровно в восемь быть у памятника Пушкину. Когда мы с Барановским пройдем мимо, прикрывать нас, следуя за нами, отступя двадцать шагов. Николаеву и Гречаникову идти за Черепановым, привести его в Чернышевский переулок к восьми часам. Если откажется идти — ликвидировать. Всем ясно?

— Как я понимаю,— сказал с улыбочкой Яша Глагзон,— у меня самая интересная прогулка. У памятника Пушкину встречаются такие симпатичные девочки!

— Самая интересная прогулка у нас с Сашей Барановским,— в тон ему отозвался Соболев.

Он не терпел зубоскальства, но сейчас Яшино балагурство снимало напряжение, и поэтому он, руководитель операции, не только не оборвал весельчака-зубоскала, но даже поддержал его.

— Первым выходит Яша,— распорядился Соболев,

Глагзон погладил усики, церемонно откланялся, расшаркался и вышел.

— Насчет Черепанова запомнил? — обратился Соболев к Гречаникову.

Мишка Гречаников вынул из кармана наган и нежно погладил его:

— Запомнил. Когда Мишка о деле забывал? Надо будет, я и этого эсера,— он ткнул дулом в сторону Николаева,— отправлю к Духонину.

— Этого не надо,— сказал Соболев.— Этот наш. Он с нами крепко повязан.

— Все они хороши языком брехать,— скривившись, возразил Гречаников.

— Не только языком. Этот на деле доказал,— успокоил его Соболев. Помолчал немного и кивнул Барановскому: — Пошли, Саша. Мы с тобой в главной упряжке.

— Нам не привыкать,— сказал Барановский.

По испитому лицу старого морфиниста скользнула злобная усмешка. Барановский, на вид медлительный и вялый, был патологически жесток. Занимаясь квартирными грабежами в Туле, он, допытываясь у своих жертв, где спрятаны деньги и драгоценности, подвергал их мучительным пыткам, прижигая тлеющей папиросой самые болезненные части тела. Во время экса на патронном заводе он без всякой на то надобности застрелил кучера, который вез кассира с деньгами. А когда его попрекнули ненужным убийством, сказал, нехотя улыбаясь:

— Одним свидетелем меньше...

Он сам вызвался кидать бомбу в здание МК вместе с Соболевым, едва услышал о подготовке к взрыву. И Соболев охотно взял его в подручные: Барановский с полным безразличием относился к жизни и смерти, как к чужой, так и к своей.

— Пошли, Саша,— повторил Соболев, пропустил Барановского вперед и, остановившись в дверях, напом-

вил остающимся: — Вам выходить ровно через полчаса. И ровно в восемь, ни минутой позже, быть в Чернышевском!

У Покровских ворот сели на извозчика, доехали до Театральной площади. Молча дошли до Копьевского переулка. У многоэтажного дома остановились. Барановский прошел во двор и вскоре вернулся вместе с Васькой Азаровым.

— Прикрывай нас,— сказал Соболев Барановскому, и тот, пропустив Соболева и Азарова вперед, пошел следом за ними.

Поднялись по Дмитровке и свернули в Козицкий переулок. Соболев и Азаров вошли в дом с черного хода, Барановский остался во дворе.

Сашка Розанов, как приказано было, ждал их. Но был заметно встревожен. И Соболев сразу заметил это.

— Значит, сегодня...— сказал Розанов.

— С парадного открыто? — не отвечая ему, спросил Соболев.

— Открыто.

— Встанешь в конце коридора. Сюда никого не пропускай. Только без лишнего шума, без стрельбы.

— А если двое? Они теперь парами ходят...

— Отведи. Как птица от гнезда отводит. Если сюда пропустишь, на дне моря сыщу.

Сашка Розанов вышел. Азаров вытащил из-под кровати большой сверток и осторожно поставил на стол.

— От удара не взорвется? — с усмешкой спросил Соболев.

— А черт его знает,— отмахнулся Васька Азаров.

Он развернул сверток. Там было десятка три кубиков, похожих на бруски банного мыла.

— Какого же ты дьявола! — разозлился Соболев.— Тебе сказано было уложить в ящик!

Васька стал оправдываться:

— Не нашлось подходящего. Ну и что? Можно связать веревкой...

— Дура! Кидать будем. Рассыплется все к боговой матери! И выйдет пшик!

— Ладно, поищем,— сказал Васька Азаров.

Отошел в угол комнаты, где у Розанова стоял самодельный верстак с небольшими тисками и другим слесарным инструментом. Пошарил под верстаком и достал фанерную коробку, наполненную шурупами, болтами и гайками. Высыпал все металлическое барахло на верстак и протянул коробку Соболеву.

— Это, брат, не ящик, а футляр первый сорт!

— Твое счастье, а то бы я тебя! — сказал Соболев, но уже без всякой злобы.

Коробка, действительно, была очень удобна, даже и с точки зрения конспирации.

— Эх, жизнь наша быстротечная! — расчувствовался Васька Азаров.— Дамочка какая-то шляпку хранила, в шляпке этой хахалей приманивала, а теперь поселится тута гремучая смерть! Этак оно: идешь — не знаешь, где найдешь, где потеряешь...

— Хватит болтать! — строго прикрикнул Соболев.— Поищи веревочку.

Васька Азаров отыскал под верстаком моток тонкой бечевы.

Соболев быстро уложил в коробку взрывчатку, приладил запал, закрыл коробку крышкой, выпустив из-под нее конец бикфордова шнура, и тщательно, в несколько рядов, обвязал прочной бечевкой.

Проверил, удобно ли нести, потом выглянул в коридор и окликнул притаившегося в дальнем его конце Сашку Розанова.

Сашка поспешно подошел и, взглянув на него, Соболев прочел на его лице нетерпеливое ожидание: когда эти опасные гости оставят его в покое...

— Скоро вернемся,— сказал ему Соболев.— Запрись на ключ и никому не открывай нипочем. Только на наш условный стук. Понял?

— Понял...

— Ну, смотри!

— Теперь ты прикрывай нас,— сказал Соболев Азарову, когда они вместе вышли из подъезда.

Переулком вышли на Тверскую, пересекли Страстную площадь, напротив Большой Бронной перешли на другую сторону улицы и двинулись в обратном направлении.

У памятника Пушкину Яша Глагзон во всем своем великолепии старательно веселил двух размалеванных девиц, не спускавших с него глаз.

— Котует, фраер! — беззлобно ухмыльнулся Сашка Барановский.

— Теперь иди к Розанову и до девяти часов не выпускай его никуда,— приказал Соболев догнавшему их Азарову.— Даже в сортир не выпускай. Понятно?

— Ты что, Петр!

— Не понравился он мне сегодня,— пояснил Соболев.— Сильно не понравился. Действуй!

И теперь уже зловещая троица в новом составе — Соболев и Барановский впереди, Яша Глагзон следом за ними — направилась вниз по Тверской, в сторону Скобелевской площади.

После короткой вступительной речи председатель предоставил слово Бухарину, затем Покровскому.

Они подробно рассказали о том, как белогвардейцы подготавливали контрреволюционный мятеж.

В Москве действовала хорошо законспирированная подпольная организация «Национальный центр», подчиненная непосредственно штабу Добровольческой армии. План мятежа разрабатывали опытные боевые офицеры, засланные в Москву штабом армии Деникина.

Руководители мятежа отлично понимали, что рассчитывать на свержение Советской власти силами одних лишь мятежников, сосредоточенных в черте города, нереально, и поэтому они поставили перед собой значительно более скромную, но зато вполне конкретную задачу.

Заключалась она в следующем: захватить центр Москвы и хотя бы на несколько часов завладеть радио и телеграфом, оповестить фронты о падении Советской власти и вызвать таким способом губительную панику и разложение в армиях, отражавших натиск дивизий Колчака, Деникина и Юденича.

Заговорщики не тратили времени понапрасну. Им удалось не только стянуть в Москву значительное число офицеров, но и внедрить их на достаточно важные командные посты. В результате под влиянием заговорщиков фактически полностью в их руках были три военные школы Московского гарнизона. Силы вполне достаточные для внезапного удара.

Руководители мятежа разработали подробный план оперативных действий. Начать мятеж предполагалось одновременно в трех пунктах: в подмосковных городках Вешняки, Волоколамск и Кунцево. Эти предварительные отвлекающие мятежи должны были сковать основные силы гарнизона и ЧК, оставив саму Москву и центральные правительственные учреждения без достаточной защиты.

Мятеж в самой Москве также был тщательно спланирован. Вся Москва была разбита на секторы по Садовому кольцу. За Садовым кольцом, по всем улицам намечалось устроить баррикады, чтобы, надежно прикрывшись с тыла и обезопасив себя от удара воинских частей, оказавшихся за чертой города, повести наступление на центр по главным магистралям: по Тверской и Никитской, по Мясницкой и Покровке.

У заговорщиков были свои агенты во многих штабах, поэтому им удавалось расставить своих людей всюду, где это им было необходимо.

— Заговорщики были настолько уверены в своей победе,— сказал, заканчивая свою речь, Михаил Николаевич Покровский,— что заготовили даже целый ряд воззваний и приказов. Сейчас я прочту вам некоторые из них.

Он начал читать хвастливый приказ мнимых завоевателей Москвы, и голос его потонул в общем гуле возмущенных возгласов.

Когда Соболев со своими спутниками пришел в Чернышевский переулок, их там уже поджидали Черепанов, Николаев и хмурый Гречаников. У Соболева отлегло от сердца. До последней минуты он не был уверен в Черепанове. Струсит и смоется из Москвы. А то еще и побежит в ЧК, чтобы предательством спасти свою шкуру. Правда, Соболев предусмотрительно поставил возле дома, в котором жил Черепанов, надежного человека, приказав ему, в случае чего, не раздумывая, ликвидировать предателя. Но можно сбежать через черный ход или просто укрыться в любой другой квартире. Словом, не было веры в Черепанова, и только увидев его здесь, в Чернышевском переулке, рядом с Гречаниковым, Соболев успокоился.

— Оставьте свою коробку, я проведу вас ближе к зданию,— сказал Черепанов.

Соболев передал бомбу Барановскому и последовал за Черепановым. Озираясь по сторонам, они подошли к узорчатой металлической ограде, за которой в глубине сада виден был красивый двухэтажный особняк с высокими, по всему фасаду освещенными окнами.

— Где калитка? — спросил Соболев.

— Калитки нет, есть ворота для хозяйственных нужд,— ответил Черепанов.— Но они закрыты, и через них проникнуть в сад нельзя.

— Значит, через ограду...— сказал Соболев, примеряясь к длине ее увенчанных острыми пиками металлических стержней.— Высоковато!

— Напрасно сетуете и огорчаетесь,— заметил Черепанов назидательно.— Только это обстоятельство и создает нам необходимые условия.

— Не понял,— сказал Соболев.

— Если бы ограда была ниже, то здесь бы прогуливались охранники из ЧК.

— Теперь понял.

— Заседание проходит в большом зале. Видите эти четыре? — сказал Черепанов, показывая окна.— Удобнее всего бросать с балкончика. На балкончик вы легко подниметесь по дереву. Отсюда это не так видно, но оно совсем рядом с балконом. Вопросы есть?

— Вопросов нет! — резко ответил Соболев, закипая.

Тля эдакая! Все чужими руками. А если выгорит дело, первый кинется пенки слизывать! Соболева вдруг охватила такая застилающая глаза ярость, что он с трудом удержался, чтобы не взять этого долговязого чистоплюя за горло и не вытрясти из чахлого тела всю его пакостную душонку. И удержало его только то, что тех, которые заседали там, за высокими светлыми окнами, он ненавидел еще больше, потому что они были сильнее.

— Если вопросов нет, я, с вашего позволения, удаляюсь,— сказал Черепанов.

— Подальше в кустики! — не выдержал все же Соболев.

— Всё как условились,— хладнокровно отвел упрек Черепанов.— Я предупреждал: наша партия должна быть вне подозрений. Честь имею.

Эх! Хоть бы врезать раз по постной роже, чтобы мета

осталась! Уж так бы врезал! Но нельзя. Союзники вроде. Да и не время. И только плюнул вслед уходящему союзничку.

Соболев распорядился, кому где охранять подходы к переулку, и строго-настрого приказал:

— Чтобы ни одна живая душа не подошла. Хитростью или силой задержать любого. Стойте насмерть!

Барановский, ловкий как обезьяна, быстро перемахнул через ограду, принял у Соболева смертоносную коробку и помог ему перелезть самому. Оставив бомбу в кустах, оба подошли к зданию вплотную. В открытую форточку доносились звуки голосов.

Ни один из заполнивших зал людей лично ему, Петру Соболеву, никогда не причинил никакого вреда. Он даже не был знаком ни с одним из них. Виноваты эти люди были лишь в том, что являлись душою и мозгом партии большевиков, которую он яро ненавидел, ибо именно эта партия возглавила народ в революционной борьбе и тем самым оттеснила партию анархистов с законно ей принадлежащего в революции — в этом Петр Соболев был твердо убежден — первого места. И эту свою вину большевики могли искупить только жизнью...

За несколько последних лет и особенно за несколько последних месяцев Петр Соболев так привык убивать, что даже тень сомнения в своем праве отнять жизнь у всех этих, ему вовсе незнакомых и лично его ничем не обидевших людей не закралась в его окаменевшую душу. Тревожила его лишь одна мысль: здесь ли все главные... Очень уж хотелось обезглавить ненавистную большевистскую власть одним ударом...

Он еще не знал, что просчитался во времени и что после первого, основного вопроса многие — и в числе их видные деятели партии и государства — покинули заседание. Он утром с жадной дотошностью перечел несколько раз объявление в газете и порадовался, что почти вся

головка собралась вместе. А Черепанов, кроме того, заверил, что будет и сам...

И вот теперь наконец-то все они в его, Петра Соболева, власти...

Черепанов все хорошо продумал и правильно подсказал Соболеву. Забраться на балкончик не составляло большого труда. А отсюда хорошо был виден просторный зал заседаний и сидящие в нем люди. Его же никто видеть не мог. Ночь была пасмурная и темная, фонари в саду не горели, электрическую энергию берегли, как хлеб.

Та часть зала, в которой находился стол президиума, не была видна Соболеву и он не мог определить, кто же из «главных» присутствует на заседании. Но теперь он уже и не думал об этом. В зале было много ненавистных ему большевиков, не менее сотни, и добытая с таким трудом взрывчатка не будет потрачена напрасно...

Соболев подал знак. Барановский, оберегаясь, чтобы не попасть в полосу света, падающего из окна, кинулся за спрятанной в кустах бомбой, принес ее и подал наверх. Соболев встал на колени, спиной к окну, прижимаясь боком к холодной стене, достал из кармана кусок шнурового фитиля и, чиркнув зажигалкой, поджег его. Зажав в кулаке тлеющий фитиль так, чтобы огонек его не был виден, осторожно заглянул в окно.

Заседание продолжалось. Все внимательно слушали очередного оратора.

«Пора!» — сказал себе Соболев, поджег фитилем выпущенный из-под крышки конец бикфордова шнура и, как только оттуда брызнули колючие искры, размахнулся что было силы и бросил бомбу в окно...

Михаил Степанович сидел недалеко от окна, и осколок стекла царапнул его по щеке.

Он не успел почувствовать боли и не сразу понял,

что произошло. Тяжелый — судя по звуку, с каким ударился об пол — предмет, пролетевший над его головой и валявшийся сейчас в проходе между стульями, был похож на шляпную коробку и, казалось, не мог таить в себе никакой опасности.

Но многие догадались и опрометью ринулись к двери. В дверях мгновенно образовалась пробка.

— Товарищи! Спокойнее! — крикнул Загорский и кинулся к бомбе, добежал, но не успел еще коснуться ее, как громыхнул взрыв...

Вспышка яркого света ударила в глаза Михаилу Степановичу и ослепила его. Потом все его тело прошило пронзительной болью, и он, теряя сознание, провалился в глубокую безмолвную темноту...

Как много всего было в жизни...

...Очнулся он уже в санитарной машине. От сильной боли тут же снова потерял сознание. Снова ненадолго очнулся, когда занесли в палату и перекладывали с носилок на узкую больничную койку.

И уже окончательно пришел в себя ночью.

Он лежал в длинной и узенькой, как пенал, комнатушке на старом диване с порванной или пропоротой во многих местах кожаной обивкой. В слабом свете, проникавшем в комнатушку из коридора через застекленную фрамугу над высокой дверью, различим был стоявший напротив дивана широкий шкаф с застекленными дверцами, на полках которого выстроились в ряд всевозможные склянки и коробки, еще один шкаф, с глухими дверцами, и небольшой столик в углу. За окном чернела осенняя ночь.

Вошла медсестра в ветхом пальтишке, накинутом поверх больничного халата, со свечой в руке, заслоняя ее пламя ладонью, чтобы не потревожить спящего. Бесшумно открыла стеклянную дверцу шкафа, осторожно достала какую-то склянку и поставила ее на столик. Подошла к дивану и поправила сбившееся одеяло.

Михаил Степанович открыл глаза и попытался оторвать голову от подушки. Хотел приподняться, опираясь на руки, но тело не повиновалось ему. С трудом шевеля губами, еле слышно выговорил:

— Кто... кто бросал бомбу?

Сестра, наверно, и не расслышала его.

Нагнулась к нему, коснулась его лба мягкой ладонью и сказала, успокаивая и убеждая:

— Вам нельзя разговаривать... Спите, спите...

Сестра ушла, и Михаил Степанович снова забылся неверным сном, то на какое-то время приходя в сознание, то опять проваливаясь в небытие.

...А потом пришла мать. Вошла неслышно, как будто проплыла по воздуху, присела на край постели и сказала:

— Ты тоже не спишь, Мишенька... Я не хочу упрекать тебя, но скажи ради бога, для чего тебе нужен был этот револьвер? Зачем ты хранил его? Ты так напугал всех нас. Ну, пожалуйста, зачем он тебе?

Что было ответить? Нельзя же было пугать и огорчать ее, сказав, что повинна во всем случившемся с ним она сама, что впервые задуматься над всем тем, что творится вокруг, заставили его те две тоненькие брошюрки, которые привез из Петербурга не то ее брат, не то товарищ брата, гостивший у них позапрошлым летом, и которые он случайно обнаружил заткнутыми за подушки дивана.

Но ведь именно так и было... До того, как привелось ему прочесть эти брошюрки, он как-то и не задумывал-

ся, почему они живут в своем собственном доме, занимая восемь комнат, тогда как тетка Маланья, приходящая к ним по субботам мыть полы, вместе со своими четырьмя ребятишками — почти такая же семья, как и у них — ютится в одной, да и то полуподвальной комнате, которую снимает в доме лавочника Фирсова... Или почему он, дворянский сын Миша Александров, ходит всегда в ботинках, даже и тогда, когда очень бы хотелось побегать босиком, а так много чумазых соседских детей, даже самых крохотных, чуть не до снега месят уличную грязь босыми ножонками... Почему он всегда сыт, и ему даже выговаривают, если он оставит недоеденное на тарелке, а столько детей ходят и просят Христа ради, чтобы подали хотя бы кусочек черствого хлеба... Почему?

— Тебе нет еще шестнадцати,— продолжала мать,— выучись сперва, окончи университет и тогда уже определишь свой путь в жизни.

— Я уже определил его, мама,— ответил он ей.— Определил раз и навсегда!

— Боже мой! Боже мой! — воскликнула мать, ломая пальцы.— Какая я дурная мать! Как я проглядела тебя, как не предостерегла!

— Ты очень хорошая, мама, и я очень люблю тебя,— сказал он тогда, обнимая и целуя ее.— Поверь, я совсем не хочу огорчать тебя. Я люблю тебя.

— Так пожалей меня. Подумай об отце. Он еще не рассказал мне, о чем они говорили с классным наставником, который приходил и унес револьвер. Он, наверное, сообщит в полицию. Отца могут уволить со службы. А мы и так едва сводим концы с концами.

Мать заплакала, и он понимал, что невозможно утешить ее. Но и обманывать ее он тоже не мог.

— Да, мне будет горько, если из-за меня пострадаете все вы. Но меня самого бедность и даже нищета сов-

сем не удручают. Ты знаешь, мама, я счастлив, что мы не богаты, и совсем не завидую тем, кто живет в роскоши. Напротив, мне и сейчас совестно, что мы живем лучше многих...

— Я понимаю тебя, сын,— сказала мать и тяжело вздохнула.— Но скажи мне, пожалуйста, скажи, чтобы я знала, что у тебя на душе, зачем ты хранил револьвер?

Он долго не решался ответить ей, но даже не понял, а скорее почувствовал, что его молчание для нее страшнее любых самых ужасных признаний.

— Я все тебе скажу, мама. Я знаю, ты поймешь меня... В прошлом году в Петербурге убили палача, генерала жандарма Мезенцева. Убил смелый, очень смелый человек, прямо на улице заколол кинжалом. И сам написал об этом: «Смерть за смерть».

— Я знаю,— сказала мать.— Я читала.

— А этой весной другой смелый человек стрелял в царя. В самого царя. Но промахнулся. Его схватили и повесили... Вот после этого я купил револьвер и стал учиться стрелять.

— Господи! — ужаснулась мать.— В кого ты собираешься стрелять?

— Нет, мама,— сказал он,— у меня не хватит мужества, чтобы стрелять в человека, даже если этот человек и заслуживает казни.

— Тогда я ничего не могу понять. Для чего же револьвер?

— Чтобы в трудный час, когда не будет другого выхода, не сдаваться живым.

Мать так же неслышно исчезла, и, когда он открыл глаза, ее уже не было в комнате...

И снова проваливаясь в забытье, Михаил Степанович успел только подумать:

«Как же живуча человеческая память! С той ночи минуло сорок долгих лет...»

* * *

Михаила Степановича доставили в больницу одним из последних. Сначала увозили пострадавших с открытыми ранами, истекающих кровью. На его теле ран не было, если не считать ссадин и ушибов от обрушившихся обломков кирпича, штукатурки и потолочных балок. К тому же он, потеряв сознание, даже не стонал.

Но когда, уже в больнице, дежурный врач осмотрел его, то сказал:

— Этому, конечно, не говоря об убитых на месте, досталось, пожалуй, больше всех. Жесточайшая контузия. Положите его так, чтобы как можно меньше его тревожить. Хорошо бы отдельно от прочих.

На что палатная сестра возразила:

— Где уж там отдельно. В общих палатах ни одного места не осталось. В коридорах кладем.

Врач еще раз прослушал пульс и сказал уже более настоятельно:

— Этого надо отдельно!

— Господи! Да говорю же я вам, в коридорах кладем! — взмолилась сестра.

И тогда врач приказал положить его в комнатушку дежурных сестер.

— А сейчас в операционную? — спросила сестра.

— Не надо,— сказал врач.— Ему сейчас нужен полный покой. Следите за ним внимательно. Если будет слабеть пульс — инъекцию камфары.

О тяжелом состоянии Михаила Степановича сообщили наркому здравоохранения Семашко. Николай Александрович тут же позвонил давнему приятелю своему, очень известному профессору медицинского факультета, попросил посмотреть контуженного. Было это на третий или четвертый день пребывания Михаила Степановича в больнице. Профессор, седой и благообразный, осматривал тщательно, не спеша. Не отрывая уха от чашечки

стетоскопа, приказывал больному «дышите!», «не дышите!». Затем очень долго проверял пульс, а проверив, положил руку Михаила Степановича поверх одеяла и сказал:

— Все опасное позади.

Потом пошевелил белыми лохматыми бровями и уверенно пообещал:

— Через две недели сами бомбы кидать сможете.

Михаил Степанович усмехнулся в бороду:

— Я, доктор, по другой части... Бомбы кидать не приходилось.

Профессор посмотрел на него пристально:

— Не приходилось... Как же так? Вы ведь большевик? Весь мир насилья мы разрушим! Как же без бомбы?

Профессор вышел, а Михаил Степанович долго еще смотрел с улыбкой на закрывшуюся за профессором дверь.

Не приходилось. Действительно не приходилось. А ведь было время...

Не всегда он был таким принципиальным противником террора. Гимназическая история с покупкой револьвера системы «Смит и Вессон» не в счет. Револьвер он покупал главным образом для себя. Чтобы не сдаваться живым. И расстался со «Смит-Вессоном» без особого сожаления.

А вот то, что было позднее,— это уже вполне серьезно... Когда зимою 1886 года, после ареста и исключения из Петербургского университета, он был выслан в Воронеж и встретился там с Катей Долговой, тоже высланной из Петербурга, за участие в студенческой демонстрации, то сразу же выяснилось: оба убеждены — нет для революционера более благородного пути, чем путь Желябова и Александра Ульянова; и это единственный по-настоящему действенный путь. Потому, наверно, так быстро и сблизились, что оказались единомышленниками в самом главном.

Правда, потом, по мере того как все больше погружался в пропагандистскую деятельность, проводя регулярные занятия в рабочих кружках — сперва в Воронеже, затем, с девяносто второго года, в Петербурге на Выборгской стороне,— все чаще стала закрадываться мысль о том, что решающая сила русской революции не террористы-одиночки, а эти вот рабочие люди, которые с таким вниманием вслушиваются в каждое слово подпольного пропагандиста.

Далеко не последнюю роль в той «аничковской» истории сыграло убежденное упорство Кати.

А зародился замысел покушения как бы случайно... Наверное, все же это слово здесь непригодно. Не подвернулся бы этот случай, нашелся бы другой. Не мог не найтись, потому что Катя жила жаждой подвига, подвига опасного, жертвенного; в таком подвиге видела цель жизни. Так что тот как бы случайный разговор с Олтаржевским лишь подтолкнул развитие событий...

Олтаржевский пришел поздно вечером, чтобы предупредить Катю и Михаила, что на квартире у Купцова засада. Ему совершенно случайно удалось обнаружить это, и он кинулся извещать товарищей. Прежде всего — Александровых. Олтаржевский давно уже был влюблен в Катю, влюблен безмолвно, по-рыцарски; Катя и Михаил знали об этом и щадили его, не выдавая своего знания. Именно поэтому и кинулся Олтаржевский прежде всего к ним, через весь город, и добрался лишь в начале двенадцатого.

Катя приготовила чай и сказала Олтаржевскому, что в ночь его нипочем не отпустит. Олтаржевский ужасно смутился: Александровы жили в двух крохотных комнатушках, в одной из которых едва умещались две узкие кровати, в другой — стол и несколько стульев.

— Ты у нас самый легальный,— сказала Катя Олтаржевскому,— мы должны тебя беречь как зеницу ока.

Не беспокойся, устроим тебя не хуже, чем в гостинице. Ты ляжешь на койку Михаила, он на мою, а я устроюсь в соседней комнате на стульях, и вы можете заниматься своими мужскими сплетнями хоть до самого утра.

Что с Катей спорить бесполезно, это все знали. Вопрос был исчерпан.

— Как ты установил, что у Купцова засада? — полюбопытствовал Михаил.

— Повезло,— несколько беспечно ответил Олтаржевский.— Я уже подходил к дому, а навстречу мне из подъезда вышел человек. И, проходя мимо меня, сказал негромко: «Не заходите в этот дом!»

— Что за человек?

— Не знаю. Видно, кто-то из жильцов этого дома. Мне кажется, я видел его раньше. Но не у Купцова. Может быть, кто-то из соседей.

— Может быть, глупая шутка?

— Ты плохо обо мне думаешь, Михалек. Я дошел до угла, свернул и вышел на соседнюю улицу. Там есть проходной двор. И подворотня этого дома — как раз прямо против окон Купцова. Я стоял там долго. Даже продрог. Зато хорошо разглядел всех, кто был в комнате.

— Сквозь занавески? — удивилась Катя.

— Они были задернуты только наполовину,— уточнил Олтаржевский.— А филеры, вероятно, решили, что это условный знак, и так оставили.

Олтаржевский встал из-за стола и показал, в каком месте в глубине комнаты находился сам Купцов и где располагались его незваные гости. Один рядышком возле Купцова, другой сидел за столом у окна, почти скрытый занавеской, третий — у самой двери.

И пояснил:

— Понимаете? Все так, чтобы мышеловка могла сразу захлопнуться.

— Ты не помнишь, Катя, мы у Купцова ничего не оставили? — спросил Михаил.

— Ничего. Я все отнесла на Выборгскую.

— Тогда Купцову нечего опасаться.

— В том случае, если мышеловка не захлопнется,— сказал Олтаржевский.

Катя строго посмотрела на него и на мужа.

— Не должна захлопнуться! — сказала она жестко.— Мы точно знаем, кто должен быть завтра вечером у Купцова. За день мы успеем всех предупредить. Ты сможешь, Федор, оторвать один день у своей службы?

— Все люди смертны,— сказал Олтаржевский,— тем более все подвержены недугам. Могу и я заболеть.

У Кати была поистине феноменальная память. Она помнила адреса всех членов подпольной организации. Десяти минут ей хватило, чтобы скомпоновать три группы. Она объяснила мужу, кого он должен предупредить и в какой последовательности, чтобы не терять времени на лишние переезды. Потом — Олтаржевскому. Олтаржевский прослушал до конца и попросил карандаш и клочок бумаги.

— Позор! — прикрикнула на него Катя.— Кого мы приняли в организацию? Этот потомок шляхтичей не хочет обременять свою светлую голову тайнами мелкой конспирации. Никаких бумажек! Изволь повторять за мной, и, пока не запомнишь, как «Отче наш», я от тебя не отступлюсь.

И тогда только отступилась, когда вконец замученный Олтаржевский смог повторить без запинки один за другим все пять названных ему адресов. И только после этого экзамена принесла ему еще стакан чая.

— Сейчас пришло в голову,— сказал Олтаржевский, прихлебывая из стакана,— я мог очень скомпрометировать Купцова... и себя тоже, если бы успел зайти к нему. У меня же с собою план дворца...

Он отставил стакан, вынул из внутреннего кармана пиджака сложенный вчетверо лист плотной бумаги, развернул его и положил па стол.

— Какого дворца? — поспешно спросила Катя.

— Аничкова...

— Откуда он у тебя?

Олтаржевский пояснил:

— Со вчерашнего дня мне поручено главным придворным архитектором наблюдать за всеми работами по ремонту Аничкова дворца.

— Царского дворца! — воскликнула Катя и побледнела как полотно.— И ты молчал весь вечер! Сейчас же, немедленно, перерисуй его мне!

Она опрометью кинулась искать бумагу. Олтаржевский остановил ее:

— Если он тебе так интересен, возьми его.

Не спеша сложил лист и передал его удивленной Кате.

— Как ты объяснишь пропажу?

— Никакой пропажи,— спокойно сказал Олтаржевский.— Я сам скопировал его. Он нужен мне для расчетов с подрядчиками. Я могу еще раз.

— Какой ребенок! Господи, какой ребенок! — воскликнула Катя.— А ты что уставился на меня? — напустилась она на мужа.— И ты не лучше его. Сущие младенцы! В этом доме будет жить царская семья!

— Это будет еще не скоро,— сказал Олтаржевский,— ремонт продлится полгода, не меньше.

— А ты уверен, что через полгода династии Романовых уже не будет?

— Катя! — силясь улыбнуться, спросил Михаил,— что еще пришло в твою буйную голову?

— Об этом мы поговорим потом! — строго, почти торжественно произнесла Катя.

С этого и началось... Катя продолжала вести занятия

рабочего кружка на Выборгской стороне, но уже без прежней увлеченности, явно тяготясь невозможностью отдаться целиком новому делу, ставшему теперь главным в ее жизни. Она пыталась убедить мужа, что в интересах этого нового главного дела и ей и ему надо прекратить работу в кружках (она сказала: «покончить с педагогикой») и все силы души устремить к тому, чтобы одним точно нанесенным ударом добиться решающего поворота в судьбе России.

— Если к цели ведут несколько путей, настоящий революционер всегда выберет путь кратчайший,— доказывала Катя.

Но тут Михаил, обычно безропотно во всем соглашавшийся с Катей, неожиданно для нее решительно воспротивился и сказал, что кружка своего не оставит. И добавил, что кружок — это живое дело, пусть и малое, но живое, польза от которого видна каждому.

— У людей открываются глаза,— говорил он.— Они начинают понимать главное: почему они живут трудно, кто их истинный враг и с кем надо бороться.

— Филистерская философия! — взрывалась Катя.— Набившая оскомину проповедь пользы малых дел! Старая песня — по силе возможности!

Катя клокотала от возмущения.

— Конечно,— уточняла она с предельной язвительностью,— куда спокойнее и безопаснее вести душеспасительные беседы, за это ведь не повесят, а только сошлют...

Понимая, что впрямую Катю не переспоришь, Михаил отыскал убедительный довод: для исполнения всякого замысла нужны надежные люди, много таких людей. Особенно когда замышляется такое громоздкое дело, как покушение на особу государя императора. Чтобы подобрать надежных людей и не допустить в этом ошибки — ибо достаточно одного даже не предателя, а просто сла-

бодушного, и все задуманное и тщательно подготовленное пойдет прахом,— надо основательно присмотреться ко всем тем, кому собираешься довериться, кого намереваешься привлечь к опасному делу.

И вот, занимаясь в кружках с рабочими, можно глубже изучить людей и отобрать среди них надежных помощников, которым можно довериться во всем и до конца.

Кате пришлось согласиться с ним. Действительно, взорвать царский дворец (это представлялось ей наиболее целесообразной формой цареубийства) им двоим, конечно, не под силу. Это только Степан Халтурин оказался в таких исключительно благоприятных условиях, что смог один осуществить взрыв в Зимнем дворце. Но он жил в этом дворце. Им же проникнуть во дворец много сложнее. И потому подготовка покушения должна начинаться с отбора помощников. И Михаил был совершенно прав, когда полагал, что искать помощников следует прежде всего среди рабочих в кружках, которыми они руководили.

Довольно долго спорили, следует ли посвящать в замысел всех членов «Группы народовольцев». Катя считала это само собою разумеющимся. Именно акция по взрыву Аничкова дворца должна была теперь стать главной целью в деятельности всей их организации.

Но Михаил все же уговорил Катю повременить с обнародованием своего замысла.

— Федор сказал, что ремонт дворца — самое малое на полгода. Тайна не выдержит такого срока.

— Ты не доверяешь Сущинскому, или Белецкому, или Келлеру! — вознегодовала Катя.

— Я беспредельно доверяю всем им,— сказал Михаил.— Так же, как и Федулову, и Зотову, и Скабичевскому. Но тайна, которую знают хотя бы трое, уже не тайна.

— Олтаржевский тоже все знает, значит, уже трое,— возразила Катя.

Михаил улыбнулся:

— Ты и я — это один человек, плюс Олтаржевский, всего двое. — И добавил вполне серьезно: — Что же касается остальных, то свою жизнь я могу доверить любому из них, но ведь речь идет о жизни государя императора.

В конце концов Катя согласилась, что торопиться, действительно, ни к чему. Условились, что оба будут продолжать вести занятия в своих кружках, постараются проверить каждого из своих слушателей, распознать самых отважных, самых преданных, самых надежных. Кроме того, за это время Катя в совершенстве изучит все подходы к зданию и, может быть, даже сумеет с помощью Олтаржевского проникнуть внутрь, чтобы совершенно отчетливо представлять себе размещение царских покоев. А Михаил вместе с остальными членами группы будет готовить давно задуманный выпуск первого номера нелегального «Рабочего сборника».

Вечером пришли неразлучные, как всегда, Сущинский и Белецкий. Катя сразу принялась их отчитывать:

— Мальчики мои непутевые! Сколько раз вам сказано было: приходить по одному! Наш Тимофей служит царю-батюшке, а точнее сказать, приставу, верой и правдой. Увидит — идут скопом, сразу запишет.

Флегматичный Николай Белецкий молча отмахнулся. Зато живой и порывистый Миша Сущинский немедленно ударился в полемику:

— Во-первых, достопочтенная Екатерина Михайловна, позвольте вам заметить, вдвоем — это еще не скопом; во-вторых, мы однокашники — студенты четвертого курса императорской Военно-медицинской академии; в-третьих, Коля близорук, как старая сова, и я оберегаю его, чтобы он не попал под извозчика или, чего доброго,

не свалился в канаву! Тезка! — воззвал он, наконец, к добродушно улыбавшемуся хозяину дома.— Хоть ты заступись!

Катя напоила однокашников чаем и собралась уже отправиться, как она сказала, «по своим делам», но Миша Сущинский попросил ее на минуточку задержаться.

— Мишенька, я очень тороплюсь,— сказала ему Катя.

Но Миша Сущинский, встав в дверях, решительно преградил ей путь.

— Достопочтенная Екатерина Михайловна, прослушайте приговор,— произнес он важно.

Затем вынул из кармана сложенный лист бумаги, не спеша развернул его и начал читать с подчеркнутой торжественностью:

— «От имени всех рабочих Санкт-Петербурга и всего многострадального Отечества нашего верховный палач и главный жандарм Государства Российского император Александр Третий приговорен к смертной казни расстрелянием из пушки. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит... Приговор привести в исполнение немедленно!»

— Все резвитесь, Мишенька, все шуточками развлекаетесь,— укорила Катя.

— Какие шуточки, Екатерина Михайловна! — обиделся Миша Сущинский.— Какие шуточки? Приговор приведен в исполнение. Коля, подтверди!

Белецкий подтвердил, что присутствовал при казни.

И рассказал со всеми подробностями, как после прочтения приговора и исполнения прочих формальностей из пушки, заряженной крупной дробью, был расстрелян большой, во весь рост, портрет Александра Третьего.

— Мальчишеские игры! — рассердилась Катя.— Постыдились бы! Революционеры-подпольщики!

Но муж с нею не согласился.

— Ты, Катя, не права,— возразил он.— Я вижу в этих играх, которые ты назвала мальчишескими, глубокий смысл. Больше того, вижу в этом прямое и достоверное подтверждение того, что упорные труды наши не пропали даром, что семена, брошенные нами, упали на добрую почву и дали первые всходы. Рабочие приходят к пониманию, что главный враг рабочего класса — самодержавие.

— Раньше они этого не знали?

— Не знали. Не смотри на меня так. Вспомни, когда казнили Александра Второго, что говорили в народе? Если забыла, напомню: царя убили помещики за то, что он освободил крестьян.

Катя просто не могла допустить, чтобы последнее слово осталось не за ней:

— Сумей застрелить Александра Третьего, не портрет, конечно,— она метнула выразительный взгляд в сторону Миши Сущинского,— а самого Александра, и ты услышишь, что станут говорить о тебе!

— И что же станут говорить? — полюбопытствовал Михаил с самой добродушною улыбкой.

— В лучшем случае, что ты сумасшедший, свихнувшийся от постоянного недоедания, а скорее всего, скажут, что ты провокатор, убивший доброго царя, царя-миротворца, который к тому же заботился о рабочих и издал указ, защищающий рабочих от произвола хозяев.

— Стало быть, не будем убивать доброго царя? — засмеялся Михаил.

— Ну, это мы еще посмотрим! — сказала Катя.

Быстро оделась и ушла. Тщательное изучение подходов к Аничкову дворцу продолжалось.

— Михаил Степанович, почему Екатерина Михайловна так напустилась на нас? — спросил заметно обескураженный Миша Сущинский после того, как Катя скрылась за дверью.

— Екатерина Михайловна — женщина серьезная и строгая,— ответил Михаил, улыбаясь.

— Нет, на самом деле,— продолжал допытываться Миша Сущинский.— Я, вот, например, тоже считаю, что очень важно, что рабочие перестали уважать царя. Вы знаете, какую недавно я песенку услышал? Рабочие пели, и даже не таясь особенно. Я вот записал ее, специально для вас.

И он протянул Михаилу листок с текстом крамольной и дерзкой песенки:

Появилася нелепость —
От Петра до наших дней,
Что в Петропавловскую крепость
Возят мертвых лишь царей.
Не дождусь я дней златых,
Чтоб в Петропавловскую крепость
Повезли царей живых.

— Очень даже недурно,— сказал Михаил, прочитав песенку.— Но, я полагаю, вы пришли ко мне не только с пушкой и не только с песней?

— Конечно нет,— сказал Миша Сущинский, и приятели рассмеялись.

Однокашники пришли с важными новостями. Точно известно, что на ткацкой мануфактуре купца Воронина завтра должна начаться стачка.

— Мы с Колей решили пробраться на фабрику,— сказал Миша Сущинский.

— С какой целью? — спросил Михаил.

Сущинский слегка замешкался с ответом.

— Интересно взглянуть, как это происходит...

— За опытом,— сказал Коля Белецкий.— Потом расскажем у себя на кружке, как это делается. Может быть, и еще где-нибудь начнут бастовать.

— Понятно,— сказал Михаил,— мысль дельная, но

только, я думаю, лучше будет, если к рабочим ткацкой мануфактуры пойду я.

И, предупреждая вопросы и возражения друзей-студентов, пояснил:

— Я не первый год встречаюсь с рабочими, мне легко найти с ними общий язык. Кроме того, мне проще увернуться от полицейских филеров, есть уже кое-какой опыт. И, наконец, я меньшим рискую. Если попадусь, самое большее, что мне грозит, увольнение со службы. Найду другую. А попадетесь вы, непременно отчислят из академии, да и не просто отчислят, а с волчьим билетом. Да вы очень-то не огорчайтесь,— прибавил он, заметив, как помрачнели лица студентов.— Я проложу вам дорожку, отыщу на фабрике людей, которым можно довериться, и вас с ними сведу. Так что и вы побываете у забастовщиков. А завтра все же лучше пойти мне.

Друзьям пришлось согласиться с доводами старшего по возрасту и по опыту.

На следующий день Михаил Александров испросил у прямого своего начальника — заведующего отделом статистики Петербургской губернской земской управы Льва Карловича Чермака разрешение отлучиться со службы на один день. Чермак, его товарищ по тайной организации, состоявший в той же «Группе народовольцев», отлучку разрешил, для того же, чтобы отлучка не выглядела послаблением по службе, сказал во всеуслышание, что поручает статистику Александрову срочно подготовить сводную ведомость по Ладожскому уезду.

Утром Михаил поднялся задолго до чиновничьего часа и облачился в подготовленную с вечера рабочую одежду. Было у него и у Кати такое одеяние, приобретенное специально для выходов в рабочие кварталы Петербургской или Выборгской стороны, достаточно скромное, чтобы не бросаться никому в глаза и не привлекать внимания полицейских и филеров. Теперь надо было су-

меть так выйти из дому, чтобы не попасться на глаза дворнику Тимофею. Он бы, конечно, несказанно удивился, увидев чиновника, выходящего в столь ранний час, да еще одетого в замасленную куртку и простые штаны и обутого в смазные сапоги. И о странном сем случае непременно сообщил бы в полицию. А супругам Александровым известно было, что они давно уже состоят под подозрением, и без особой нужды не следовало искушать судьбу. По счастью, из окна общей кухни виден был вход в дворницкую. Катя, затеяв для отвода глаз какую-то раннюю стряпню, сама внимательно следила за подметавшим двор Тимофеем и, как только он скрылся в своей конуре, тут же сообщила мужу, дожидавшемуся ее знака, и тот почти бегом спустился по лестнице со своего пятого этажа и выскользнул на улицу, обманув на сей раз бдительность наблюдательного дворника.

К воротам Воронинской мануфактуры Михаил успел еще до первого гудка. Но пройти на фабричный двор ему не удалось. Возле проходной стояло несколько городовых, которые пропускали далеко не всех. Михаил хотел было сунуться наудачу, выбрав момент, когда около открытой двери проходной будки столпилось много рабочих, но его окликнули:

— Петр Петрович!

Михаил насторожился. Петром Петровичем он был для слушателей кружка, в котором вел занятия. Но среди них не было рабочих Воронинской мануфактуры, и поэтому здесь некому было его знать...

Второй раз окликнули громче и настойчивее. Стало быть, признали его и отмалчиваться не имело смысла.

Михаил оглянулся и увидел знакомое лицо. Рабочий этот присутствовал на занятиях кружка, которые Михаил вел на Выборгской стороне, в квартире Михаила Хорькова и Якова Майорова. Михаил не знал, как зовут рабочего, который его окликнул,— тот всего два или три

раза появлялся на занятиях кружка,— но лицо, узкое, худощавое, в редких оспинах, запомнилось. И Михаил без опаски подошел к нему.

— Не ходите, Петр Петрович, заберут,— сказал рабочий Михаилу, понизив голос.

— Почему заберут?

— А вон, гляньте, рядом с урядником усатый стоит в поддевке. Это старший мастер ткацкого цеха, он указывает, кого пропускать. Бастует-то только красильный цех, а ткацкий пока не пристал к забастовщикам. Вот они и стоят у проходной: ткачам — заходи, а красильщиков не пропускают, чтобы не подбивали, значит, ткачей на забастовку.

— Я-то не красильщик,— возразил Михаил.

— А вас мастер сразу разглядит, да и городовые тоже, что вы человек здесь на фабрике вовсе сторонний, и сразу заберут в участок.

— Так уж и разглядят,— усомнился Михаил.— Чем я отличаюсь от любого фабричного рабочего?

Его собеседник усмехнулся добродушно:

— Одежду и обутки вы сменили, это точно, ну а по рукам враз признать можно... Кожа-то у вас на руках чистая и гладкая.

— Досадно,— сказал Михаил,— я-то надеялся, что сумею пройти в цех к бастующим.

— Да их никого и нету в цехе,— сказал рябоватый,— не пускают. А ежели вам надо повидать забастовщиков, так они собрались за углом в трактире. Вроде как чаю попить. Там сейчас весь стачечный комитет.

— Отведите, пожалуйста, меня к ним,— попросил Михаил,— уж не знаю, извините, как вас звать-величать?

— Евдоким, по батьке Петров,— ответил рябоватый.

— Пожалуйста, Евдоким Петрович,— еще раз повторил свою просьбу Михаил.

Евдоким Петрович какое-то время помешкал, как бы размышляя, можно ли уважить просьбу, потом решился.

— Идемте, Петр Петрович.

На высоком крылечке трактира под ярко размалеванной вывеской стояли двое, мирно покуривая. Но когда Михаил со своим спутником хотели пройти мимо них, рослый бородатый мужчина молча преградил им путь.

А товарищ его, совсем молоденький, безусый еще паренек, спросил Михаила:

— Кто таков?

— Свой,— ответил Евдоким Петрович.

Но, как видно, его ручательства было недостаточно.

— Кому свой,— сказал бородатый густым басом,— а нам, однако, видится,— чужой.

— Второй раз ты меня заподозрил, Иван Митрофанович,— сказал ему Михаил.

Этого картинного бородача он узнал сразу, хотя и видел его только однажды, и прошло с того дня года полтора, никак не меньше.

Когда связная центрального рабочего кружка — швея Наталья Григорьева привела его в первый раз на Большой Самнсоньевский в квартиру Хорькова и Майорова, там в числе прочих пришедших на занятие был и этот чернобородый. Михаил хорошо запомнил его, потому что именно этот бородач тогда допрашивал его с особым пристрастием. И в продолжение всей беседы, которую вел Михаил с рабочими, не раз ловил он на себе пристальный и недоверчивый взгляд чернобородого. И это было до того неприятно, что Михаил то и дело сбивался с мысли, и занятия в тот день прошли гораздо хуже, нежели обычно.

И только когда занятия уже окончились и Михаил перед уходом достал кошелек и, вытряхнув из него все, что там было — что-то около восьми рублей — передал деньги Хорькову и сказал, что надо к следующему вос-

кресенью купить стол и чайную посуду, чтобы всегда стояла на столе и, в случае чего, собрание можно было выдать за обычное чаепитие,— только после этого чернобородый подошел к Михаилу, представился Иваном Митрофановичем и сказал:

— Теперь вижу, что понапрасну засомневался. Не обессудьте, что плохо подумал,— и, усмехнувшись в бороду, добавил: — Обжегся на молочке, дуешь и на водичку! Да и то сказать, Петр Петрович, не милуют нашего брата, за всякие такие вот беседы...

После этого разговорились по душам и расстались с Иваном Митрофановичем в самом добром расположении друг к другу.

Но Иван Митрофанович больше на занятиях не появлялся,— от Хорькова Михаил узнал, что у нового его знакомца возникли нелады с полицией и пришлось срочно уехать из Петербурга, и вот теперь лишь довелось снова встретиться.

Наверное, только по голосу и признал Михаила Иван Митрофанович.

— Ну скажи ты,— пророкотал он,— какая оказия! Вот уж, нежданно-негаданно, Петр Петрович! — и, схватив руку Михаила, крепко пожал ее.

— Правильно сообщили нам, Гаврюха,— сказал он, обращаясь к молоденькому своему товарищу,— это свой человек. Проходите, милости просим, Петр Петрович!

В трактире, как и положено, было дымно и шумно.

Но еще с порога Михаил заметил, что обстановка несколько отличается от обычной для таких заведений. Не было распивающих чаи бородачей-извозчиков, в зипунах, опоясанных цветными кушаками; не видно было ни одной студенческой фуражки. Все столы были заняты, но, судя по одежде, помещение заполнили рабочие-красильщики.

Потом уже Михаилу объяснили, что, решив собраться именно здесь, стачечный комитет сказал хозяину заведения, что посторонних в трактир сегодня не будут пускать, но что в убытке хозяин не останется, потому что народу будет битком. Трактирщика строго предупредили, что полицию тревожить не надо, намекнув при этом, что трактир деревянный, и, в случае чего, может, неровен час, и сгореть начисто. А предупредив, кроме того, поставили на крыльцо и на задворках охрану, наказав ей до той поры, пока не разрешит стачечный комитет, никого из трактира и со двора не выпускать.

Петра Петровича провели к столу, где сидели члены стачечного комитета.

В середине этого главного стола сидел пожилой рабочий в кожаном картузе. Михаилу запомнились его живые глаза и скуластое лицо в седоватой бородке. Судя по тому, что к его словам прислушивались с особым вниманием, он и был председателем стачечного комитета. Иван Митрофанович подошел к нему и, склонившись, сказал ему что-то, после чего сразу же возвратился на свой пост на крыльце трактира.

— Присаживайтесь к нам, Петр Петрович,— сказал председатель стачечного комитета и, подвинувшись на лавке, освободил Михаилу место рядом с собой.

И сразу же продолжил прерванную появлением Михаила речь.

—...и выходит, товарищи, как умом ни раскидывай, теперь все дело в том, поддержат или не поддержат нас ткачи. Все дело в этом. Ежели ткачи не поддержат, хозяин сломит нас. Сколь мы ни перемогайся, одни против хозяина не сдюжим. Он будет выпускать суровье, а красить отдаст на Маркеловскую мануфактуру. Ему и горя мало. А вот ежели ткачи забастуют, тогда хозяину полный разор. Тогда ему придется пойти на уступки рабочим...

— Это и глупому понятно...— подал голос молодой рабочий, сидевший в конце стола.

— Не гоноши, Пантелей. Понятно не каждому,— возразил сосед, высокий тощий старик,— ткачам, стало быть, не понятно...

— Стало быть, объяснить надо! — выкрикнул кто-то.

— Обождите, ребята,— степенно и веско произнес круглолицый крепыш, сидевший напротив Михаила и не спускавший с него глаз.— Про наши дела погодим. Разъясненья прошу! — И он перевел глаза на председателя.— Кого это ты, Кузьма Лукич, рядом с собой посадил? Уговаривались чужих не пускать. А этот господин не с нашей фабрики. Не рабочий он. Сразу видать, хоть и вырядился в нашу лопотину.

— Это Петр Петрович,— спокойно ответил председатель.

— А хоть бы Иван Иваныч! — грубо возразил круглолицый.— Не нашего поля ягода. Зачем к нам пожаловал? По какому такому праву заявился в наши дела встревать?

За соседними столами зашумели.

— Петр Петрович наш товарищ,— все так же спокойно пояснил председатель стачечного комитета.— Мы его знаем не первый день. Он давно ведет занятия в рабочих кружках на Выборгской стороне.

— Разговорами, стало быть, занимается. Самое что ни на есть милое господское дело! А чем ты, господин хороший, окромя разговоров помочь нам можешь? Разговоры твои сладкие нам сейчас ни к чему!

Явное презрение, сквозившее в голосе круглолицего, задело Михаила до глубины души. Очень хотелось оборвать грубияна, пристыдить на виду у всех, но он сдержался и ответил как мог спокойно:

— Умный разговор — делу не помеха. Да и сами-то вы сейчас разве не разговорами занимаетесь?

— Мы бастуем! Ты чем можешь нам помочь?

— Пока только советом.

— Развелось вас, советчиков! — с откровенной злобой бросил ему круглолицый.

Но его тут же одернули:

— Не ярись, Григорий! Пущай скажет...

— Говорите, Петр Петрович,— спокойно и уважительно произнес председатель.

Михаил спохватился и подумал, что он еще очень плохо осведомлен о положении дел на фабрике, а по сути дела, вовсе ничего не знает о них и лучше бы ему повременить с речами и послушать мнение рабочих, прежде чем вылезать со своими, прямо скажем, непрошеными, советами, но вовремя понял, что оказался в положении, когда отмалчиваться нельзя. Пришлось говорить.

Прежде всего Михаил честно признался, что к Воронинской мануфактуре подошел первый раз в жизни, и какая у них тут обстановка и какая расстановка сил, ему неведомо.

— А берешься советовать! — не преминул упрекнуть круглолицый его оппонент.

— Берусь! — сказал Михаил с мужеством отчаяния.— Потому берусь, что рабочая доля везде одна, что на вашей мануфактуре, что на любой другой. Везде хозяин норовит три шкуры содрать, и сдерет, если отпора не получит. И это мне так же хорошо известно, как и всякому другому... Вот потому и берусь советовать. А советы мои таковы. Первый совет: начали стачку — держитесь твердо, до победного конца. Второй: надо сделать так, чтобы на всех питерских заводах и фабриках знали о вашей забастовке. В этом деле и мы вам поможем. А третий совет — надо предъявить хозяину свои требования. И так предъявить, чтобы все знали, во имя чего вы бастуете и чего требуете от хозяина. Вот, пожалуй, и

все. Хотя нет, не все. Чуть не позабыл самое главное. Требования ваши надо сейчас написать и не только вручить хозяину, но и расклеить по всей фабрике. Тогда, может быть, и ткачи за ум возьмутся. Словом, надо сейчас же написать. Вот тут и моя помощь пригодится.

Он толково выступил тогда, хотя первый раз в жизни выступал на столь многолюдном собрании. Правда, был за плечами опыт работы в кружках, но это совсем иное дело. Там шел к рабочим с готовыми истинами, надо было только достаточно понятно их изложить. Здесь от него ждали совета в живом, ему вовсе не знакомом деле, и надо было суметь дать разумный, то есть дельный совет. И убедить в том, что совет дельный, а это далеко не просто, особенно когда сам знаешь, что ораторских талантов за тобою не водится.

Вечером, когда пересказывал Кате все события этого удивительного и тревожного дня, сам дивился, как это все ему удалось.

Лаконичная речь Михаила рабочим явно пришлась по душе.

— Теперь, поди, согласен, Григорий, что умное слово — делу не помеха? — сказал Кузьма Лукич круглолицему крепышу.

— Еще верещал, надрывался: кто такой, да зачем пришел? — вставил кто-то.

Круглолицый крепыш оказался человеком мужественным и не стал увиливать.

— Стало быть, ошибся,— признался он чистосердечно,— и хорошо, что так... Куда бы хуже для всех нас, кабы не ошибся, а точно угадал.

Кузьма Лукич распорядился сходить к хозяину трактира за бумагой и чернилами, а когда то и другое принесли, велел передать Михаилу.

— Что писать? — спросил Михаил.— Говорите.

— Говорить все будем,— сказал Кузьма Лукич и обратился к рабочим: — Вставай по одному, у кого какие есть требования к хозяину.

Михаил едва успевал записывать. Когда поток предложений иссяк, Кузьма Лукич сказал:

— Теперь можете чаи гонять до седьмого пота, а мы тут все обмозгуем, потом Петр Петрович запишет, чтобы все складно было, и нам прочитает, а мы послушаем, все ли записано, не пропущено ли чего.

Этот январский день тысяча восемьсот девяносто четвертого года навсегда остался в памяти Михаила Александрова. В первый раз пришлось ему наблюдать живой эпизод классовой борьбы труда и капитала, и не только наблюдать, но и принять в нем непосредственное участие.

Этот день сыграл немалую роль и в личной его судьбе. Никакие предосторожности, предпринятые стачечным комитетом, не смогли обезопасить участников собрания. Как и на многих других питерских предприятиях, у охранки и среди рабочих Воронинской мануфактуры были свои осведомители. Все, что происходило за закрытыми дверями трактира, в тот же вечер стало известно охранному отделению. И с этого дня дамоклов меч навис над головами Михаила и Кати.

А через несколько дней как-то под вечер прибежал запыхавшийся Коля Белецкий и сообщил, что студенческая сходка по поводу семидесятипятилетия университета будет завтра, 8 февраля, в доме № 41 по Разъезжей улице. Сходка эта будет накануне официального торжества, которое состоится в актовом зале университета. Ну, понимаете, девятого числа это начальство устраивает, а восьмого — значит, завтра — студенты, в противовес начальству...

— Коля, где вы достали такую потрясающую бекешу? — спросила Катя, не дав ему договорить.

— А что? — слегка насупился Коля Белецкий.— Очень хорошая бекеша. Незаменима в целях конспирации. Студенческая шинель каждому лезет в глаза.

— Тоже мне конспиратор! — усмехнулась Катя, но не обидно, а с ласковой снисходительностью.

Из всех членов их «Группы народовольцев» она выделяла двух неразлучных юных друзей — Мишу Сущинского и Колю Белецкого. «Чистые, смелые души. На этих можно положиться», — не раз говорила она Михаилу.

— Напрасно вы так, Екатерина Михайловна,— возразил Коля Белецкий,— мы теперь очень строго соблюдаем все правила конспирации. Я вот никогда не подхожу к вашему дому по переулку, а всегда с Невского и проходным двором.

— Верю, Коля, верю,— успокоила его Катя.— Но я перебила вас, и вы не досказали нам о сходке.

— Да уже почти все сказал... еще вот что: сходка будет в кухмистерской Петрова, на каждую персону порция холодной закуски и пара чаю. Билет стоит рубль. Я принес вам два билета.

— Неужели ты пойдешь на эту говорильню? — спросила Катя Михаила.

— А вы не хотите идти, Екатерина Михайловна? — поразился Коля Белецкий.— Там будет профессор Тимирязев из Москвы, известный писатель Засодимский...

— Графа Льва Толстого не будет? — спросила Катя с усмешкой.

— Нет, надо сходить,— сказал Михаил,— понять, чем дышат нынче студенты, да и профессора... Послушать, о чем будут речи... Это и для нас очень важно. Так что выдавай мне, супруга, рубль на пропой.

Отдав билет Михаилу, Коля Белецкий попрощался и заторопился уходить.

— Обиделись, Коля? — спросила Катя.

— Что вы, Екатерина Михайловна...— смутился Белецкий.— Мне теперь надо успеть отнести билет Скабичевскому, а если его не застану, то Келлеру или Зотову. А это концы не малые...

У входа в кухмистерскую Петрова толпились студенты. Михаила встретили Миша Сущинский и Коля Белецкий и тут же повели в зал, чтобы успеть занять место поближе к главному столу, поставленному поодаль от прочих, по-видимому, для руководителей сходки и наиболее именитых гостей.

Михаил сразу заметил, что приборы на столах поставлены очень тесно, и сказал с усмешкой, что если среди приглашенных окажется хотя бы половина гостей истинно мужской комплекции, ну вот хотя бы такой, какою природа наделила его, то места за столом для всех явно не хватит.

На это Миша Сущинский возразил, что среди тех студентов, которые придут в кухмистерскую сегодня, дородных будет куда меньше, нежели тощих, и что по этой причине опасения Михаила Степановича совершенно неосновательны.

— Но почему все же решили втиснуть в этот зал такую уйму народа,— недоумевал Михаил,— чем руководствовались? Желанием просветить возможно большее количество прозелитов или желанием уменьшить паевой взнос каждого?

— Конечно, первою причиной,— сказал Миша Сущинский.

— А по-моему, второю,— возразил Коля Белецкий.

— А скорее всего,— сказал с улыбкой Михаил,— руководствовались обеими причинами.

— Ну, знаете, Михаил Степанович,— сказал с напуск-

ной важностью Миша Сущинский,— это уже оппортунизм.

Слово это только входило в моду, и Миша потому и позволил себе щегольнуть им.

— Оппортунизм у меня или у них? — переспросил, как бы недоумевая, Михаил.

— Стало быть, у всех вас,— сказал Коля Белецкий.

Поддерживая игру, Михаил притворился чрезвычайно обескураженным.

— Выходит, тут собрались все оппортунисты...

— Не все,— уже серьезно возразил Миша Сущинский.— Вот посмотрите, Михаил Степанович, какая листовочка ходит по рукам.

— Это не листовка, а целая диссертация,— пошутил Михаил, беря из рук Сущинского сложенный вдвое полный лист плотной линованной бумаги, исписанный весь, до последней строки последней страницы.

Михаил быстро пробежал листовку — писано было густыми фиолетовыми чернилами, крупным, почти каллиграфическим почерком и читалось, как по-печатному.

Авторы листовки резко протестовали против университетских «распорядков, вызывающих чувство негодования». Они предупреждали всех студентов, что завтрашний день станет не «праздником науки», каким его силятся представить начальствующие лица, а лицемерным и циничным фарсом. «Будут говориться речи, петься гимны и кантаты». Будут «рассыпаться в благодарностях» перед начальством, «начиная с главного «покровителя» просвещения и кончая субинспектором». Станут доказывать, что кругом «тишь да гладь да божья благодать».

И авторы листовки задавали вопрос: «Но так ли гладко все на самом деле, господа? Так ли живется студентам?..»

И, подводя итог всему сказанному, называли завтраш-

нее официальное сборище «всероссийской вакханалией торжествующего произвола».

— А вы знаете, друзья мои,— сказал Михаил Сущинскому и Белецкому,— это очень хорошо, что появилась такая смелая и честная прокламация, и просто отлично, если ее написали сами студенты.

— Конечно, сами! — в один голос воскликнули Миша и Коля.

А Коля Белецкий тут же добавил:

— Скорее всего, они будут сегодня здесь, и мы постараемся их вам показать.

За главным столом появился высокий худощавый человек средних лет, с узкой, аккуратно подстриженной бородой.

— Тимирязев, знаменитый профессор Московского университета,— сказал Коля Белецкий.— Наверно, прямо с поезда. Видимо, его только и ждали.

И едва Тимирязев уселся в центре главного стола, поднялся студент университета Василий Талалаев, объявил студенческую сходку открытой и произнес вступительную речь.

К великому удивлению Михаила, об университетском юбилее студент Талалаев сказал всего несколько слов и то явно лишь для отвода глаз, а затем перевел речь на стачку рабочих Воронинской мануфактуры и сообщил о преследованиях, которым подвергаются забастовщики.

В результате полицейского произвола двадцать семь семейств рабочих выселены из Петербурга; выселены в такие места, где должны умереть с голоду за неимением работы по специальности.

В заключение своей речи Талалаев призвал всех присутствующих к пожертвованиям в пользу пострадавших рабочих, так как, сказал он, «студенты нравственно обязаны прийти на помощь пострадавшим».

Сразу меж столов пошли с подписными листами. И не

было человека среди собравшихся в огромном зале, который остался бы безучастен.

— Вот это дело! — обрадовался Михаил. А помолчав немного, добавил: — Как жестоко ошиблась Катя, отнесясь к этому собранию, как к пустой говорильне...

И к речам всех следующих ораторов прислушивался с удвоенным вниманием.

Эта студенческая сходка надолго запомнилась Михаилу. И не просто запомнилась, а укрепила его в мысли, что во всенародной революционной борьбе рабочий класс — всему голова, что именно борьба рабочего класса станет ядром всенародной борьбы.

Студенческая сходка, которая открылась речью в защиту прав рабочего класса и продолжалась сбором средств для бастующих рабочих, была еще одним убедительным доказательством правильности этой мысли.

Катя добилась своего. Олтаржевский не в силах был противостоять ее напору. И сам провел ее в покои Аничкова дворца.

Но перед тем, как капитулировать, Олтаржевский долго сопротивлялся. И все время бросал умоляющие взоры на Михаила, но тот не принимал участия в их споре, зная, что своим вмешательством только подольет масла в огонь.

Он сидел за столом и писал статью о только что подавленной стачке на ткацкой мануфактуре Воронина. Статья предназначалась для первого номера нелегального «Рабочего сборника», который решено было выпускать силами «Группы народовольцев» несколько раз в год.

А Катя ожесточенно спорила с Олтаржевским.

— Отстраняя меня от участия в великом деле, ты полагаешь себя правым? — наступала она.— Чего доброго, мнишь себя рыцарем, спасающим даму от грозной

опасности? Никакой ты не рыцарь! Ты тупой немецкий бюргер, типичный филистер, предоставляющий женщине довольствоваться проклятыми тремя «К» — Kirche, Kinder, Küche *.

— Ну при чем тут рыцарь и при чем бюргер,— возражал обиженный до слез Олтаржевский.— Никто тебя ни от чего не отстраняет. Но зачем самой проситься в Петропавловскую крепость? Пользы от этого посещения дворца на грош, а риск огромный. Ты пойми: во дворце работают несколько артелей мастеровых. Все мужики. Ни одной женщины. Всем бросится в глаза, если вдруг во дворце появится женщина...

— Я же и говорю: женщина должна сидеть на кухне...

— Ну как ты не хочешь понять,— разгорячился Олтаржевский,— что стоящий у входа городовой сразу приметит тебя и немедленно доложит по начальству. Не говоря о том, что и среди мастеровых наверняка есть подсаженный к ним филер. Может быть, и не один. После взрыва в Зимнем дворце охранка стала гораздо умнее!

Катя, конечно, понимала, что Олтаржевский прав, но продолжала спорить:

— Но почему именно меня должны приметить?

— Матка боска! — воскликнул Олтаржевский.— Да именно потому, что ты будешь единственная женщина среди всех работающих во дворце мужчин!

— Опять женщина!

— Но я же не виноват, что всемогущий пан бог создал тебя женщиной!

— И напрасно! — отрезала Катя и задумалась.

Олтаржевский кинул торжествующий взгляд на Михаила: удалось все-таки найти неопровержимый довод.

---

* Церковь, дети, кухня (*нем.*).

Но Михаил только головой покачал; он-то знал Катю гораздо лучше.

И действительно, Катя отыскала выход.

— Хорошо! — сказала она.— Исправим ошибку пана бога. Я переоденусь мужчиной. Не маши руками. Я много раз играла в водевилях с переодеванием и отлично выгляжу в мужском костюме.

В конце концов после долгих препирательств Олтаржевскому пришлось уступить. Решили, что Катя пойдет во дворец в качестве писца, обойдет все комнаты дворца и будет записывать все распоряжения, которые Олтаржевский отдаст мастеровым.

Когда все детали операции были обговорены, Михаил спросил Олтаржевского:

— А почему ты сказал, и не просто сказал, а повторил дважды, что охранка стала умнее?

— Учится на ошибках,— сказал Олтаржевский.— Вот я тебе прочитаю любопытнейший документ — выдержку из донесения весьма высокопоставленного полицейского чина. Документ сей дал мне прочесть начальник мой, главный архитектор, в целях повышения моей бдительности, а я улучил момент и переписал самое любопытное. Слушай: «По делу о взрыве Зимнего дворца пятого февраля тысяча восемьсот восьмидесятого года выяснилось, что в бесчисленных помещениях этого обширного здания проживали в качестве рабочих, дворников, мастеровых, а также жильцов и родственников придворной прислуги разные лица не только сомнительной благонадежности в нравственном и политическом отношениях, но и беспаспортные, лишенные прав жительства в столице». Ну как? — спросил Олтаржевский, тщательно сложил бумагу и спрятал во внутренний карман.— Не правда ли, довольно любопытно?

— Очень любопытный документ,— согласился Михаил.



— Но с того времени прошло полтора десятка лет. Целая эпоха. И охранка многому научилась.

— Дело даже не в самой охранке, точнее сказать, не только в охранке,— заметил Михаил.— Суть дела в том, что изменилась стратегия и тактика революционной борьбы. Было такое время, когда в революционерах ходили одни дворяне. Потом к ним примкнули разночинцы. Но это все люди, как говорится, из общества. За ними и следило Третье отделение, позднее — Департамент полиции. Простой народ в революционном движении, если не считать стихийных крестьянских бунтов, не принимал участия. Потому жандармы и не следили за простонародьем. Дворянин или разночинец в подвале царского дворца не поселится. А халтуринский взрыв и охранку научил многому. Теперь стали опасаться рабочих. Вот почему я тоже считаю, Катя, вовсе ни к чему тебе разгуливать по дворцу.

— Но мы ведь уже решили! — сказала Катя, и Михаил, махнув рукой, вернулся к своей статье.

Катя вернулась из дворца окрыленной.

Просидела целый вечер над планом, помечая на нем только ей понятными условными знаками, как размещена мебель в комнатах, какие комнаты сообщаются между собою, как расположены лестницы и переходы.

Сказала Михаилу:

— Теперь мне все ясно.

— Что именно?

— Все! — сказала Катя с нажимом.

— Когда же переезжает в Аничков дворец царская семья? — спросил Михаил.

— Это еще никому не известно.

— Что же тогда ясно?

Катя ужасно рассердилась.

— Я вижу,— сказала она, раскрасневшись и дрожа

от волнения,— тебе очень не хочется принимать участие в этом деле.

— Так если бы дело, а то пока одни домыслы.

— Тебе важнее твои трактирные беседы, всякие собрания и твои статьи, которые никому не нужны и которые никто и читать не станет!

— Но это же дело, пусть и не столь важное, как задуманное тобою, но все же дело.

— Теперь я вижу, что наши пути расходятся! — торжественно произнесла Катя.

Михаилу стало и смешно и горько. Раздосадованная, обидевшаяся на него Катя явно искала ссоры. Надо было тушить ссору в зародыше. И он ее потушил. Сумел убедить Катю, что когда дойдет до дела, у нее не будет ни малейшего повода на него обижаться.

И все же с того вечера в их давней и тесной дружбе возникла первая трещинка.

Кто же из них был тогда прав в этом первом серьезном споре? Катя, заявившая сгоряча, что пути их разошлись, или он, постаравшийся разубедить ее?

Тогда ему казалось, что прав он, что с ее стороны это просто нервная вспышка, вполне простительная столь молодой женщине, ставшей на нелегкий путь профессионального революционера и в силу этого лишенной многих обыденных радостей жизни...

Но, наверное, права была все же Катя.

Не потому, что была права по существу дела. А потому, что уже тогда — и, вероятнее всего, не трезвым рассудком, а чисто интуитивно — почувствовала, что они постепенно, очень медленно, но неудержимо отдаляются друг от друга. И что недавно возникшую, но уже явственно наметившуюся трещину эту не зарубцевать ни силами ума, ни силами сердца.

И он и она пылали ненавистью к самодержавию, ко-

торое в их глазах олицетворяло собою всю социальную несправедливость жизни, при которой малая кучка господ роскошествовала за счет непосильного труда и полуголодного существования миллионов тружеников города и деревни.

И он и она с юных лет посвятили свою жизнь борьбе с самодержавием. Но с каждым днем все явственнее обозначалась и разница между ними. Разница не в том, что кто-то из них смирился со свинцовыми мерзостями окружающей их жизни и умалил свою ненависть к самодержавию. Нет, в своей святой ненависти они по-прежнему были едины и в гибели самодержавия видели первое и решающее условие для устранения социального неравенства и облегчения жизни простых людей. Разным виделся им путь, ведущий к победе над самодержавием.

Он сразу же, с того памятного вечера, когда Олтаржевский принес к ним план Аничкова дворца, отнесся к тираноборческой затее Кати довольно скептически. И потому, что не верил в возможность ее осуществления, и потому, что не усматривал большой разницы в том, кто будет восседать на российском престоле — пьяница Александр Третий или не отличающийся большим умом его наследник Николай...

И все же, если бы дело дошло до реальной попытки покушения на венценосную особу, он принял бы в ней участие и, если бы доверили ему, взял на себя самую опасную роль. Но, даже бросая своей рукою бомбу или поджигая запал снаряда, которому предназначено поднять на воздух царский дворец, он бы отчетливо сознавал, что главная опасность для самодержавия отнюдь не в актах индивидуального террора.

Главное — в том, чтобы поднять на активную и сознательную борьбу с самодержавием массы обездоленных крестьян и рабочих, иначе говоря, всех тех людей, кому

живется голодно и холодно. И давно уже начал понимать, что решающую роль в этой борьбе сыграют именно рабочие. Потому с таким усердием и относился к своим занятиям в рабочих кружках.

Катя попрекнула его тем, что он корпит над статьями, которых никто и читать не станет. Это больно укололо его. В статьи эти он вкладывал всю свою душу. Иначе он не мог. Он знал, что оратор он очень посредственный. Не было в его речах искрометного блеска и пафоса, который воспламеняет массы. Для этого он слишком медленно и как бы осторожно думал. Но знал за собой и другое. Когда было время обдумать свою мысль, как это возможно, сидя над листом бумаги, то всегда отыскивались нужные и точные слова для выражения самой сути.

Возвратясь в Воронеж после того, как сдал экзамен на прапорщика и избавился от подневольной солдатчины, он написал едва ли не первую свою статью, которая, к искреннему его изумлению, стала очень популярной в городе, переписывалась и передавалась из рук в руки, читалась на многих тайных сходках.

Черновик ее сохранился у него, и теперь стоило использовать хотя бы некоторые места из этой юношеской статьи для первого номера «Рабочего сборника».

Хотя бы вот это:

«...Царская власть целые века душила русский народ: она уничтожила народную власть — вече, гнала людей вон с родины, закрепостила крестьян, истребила массу народа в бессмысленных войнах, жгла на кострах и гноила в тюрьмах людей, не желавших признать казенной церкви. Все это было. Что же есть? Естественно, чтобы главным правительственным лицом выбирался самый честный, самый способный из всех граждан. У нас высшая власть переходит по наследству: будь наследник сумасшедший, как Павел... пьяница, как Александр Тре-

тий,— все равно ему вверяются интересы и жизнь миллионов».

Надо подумать, как использовать это — сказано просто и доступно для понимания каждого, даже для самого малограмотного рабочего. А пока закончить быстрее статью о стачке на ткацкой мануфактуре...

Закончить сегодня статью не удалось. Пришел Миша Сущинский, а следом за ним, с интервалом в несколько минут (соблюдая нехитрую конспирацию) студент Петербургского университета Павел Скабичевский. Скабичевский первый раз пришел к Александровым, и Михаил очень обрадовался его приходу. Они встречались не раз на собраниях «Группы народовольцев», и Михаил сразу же проникся к нему особым уважением. Павел Скабичевский привлекал его своей манерою держаться просто и непринужденно, своим ровным и неизменно уважительным отношением к товарищам, серьезной начитанностью и связанной с этим основательностью суждений. Скорее всего, это объяснялось тем, что среди студенческой молодежи он был самым взрослым — почти одних лет с Михаилом. Катя, как обычно, отправилась на прогулку вокруг Аничкова дворца.

Издание «Рабочего сборника», к которому Катя отнеслась столь пренебрежительно, было и оставалось главным делом «Группы народовольцев». Первый номер уже почти готов. Сегодня собрались, чтобы предварительно обсудить его содержание.

Сборник решили открыть обращением к рабочим Петербурга с призывом организовывать повсеместно рабочие кружки и с обещанием наладить издание нелегальной газеты для рабочих. «Рабочий сборник» назван был в этом обращении предтечею газеты, и всех его читателей просили собирать сведения о бунтах и стачках и о притеснениях от властей и хозяев. Затем следовали статьи: «Русское правительство о русских рабочих» (в ней ра-

зоблачалось лживое сочинение главного фабричного инспектора Михайловского), о стачке на ткацкой мануфактуре Воронина, переводная статья Лафарга об организации рабочей партии в Западной Европе.

Далее шло «Внутреннее обозрение» — подборка корреспонденций из разных концов страны, в которых сообщалось о различных правительственных мероприятиях и о том, как увеличивались доходы помещиков и прибыли фабрикантов, а с другой стороны, разорялись рабочие и крестьяне. «Внутреннее обозрение» заканчивалось словами: «Пора понять, что так будет до тех пор, пока народ, выведенный из терпения жалкими подачками, не сметет это правительство, вместе с шайкой его приспешников-капиталистов, с лица земли».

В «Хронике фабрично-заводской жизни» публиковалась корреспонденция о притеснениях и штрафах в Петербургском порту, где по распоряжению командира порта Верховского рабочих штрафовали, даже если они не выходили на работу по болезни. В заметке сообщалось также, что некоторые смельчаки пробовали жаловаться великому князю Алексею Александровичу, осуществлявшему верховный надзор за флотом в Российской империи, но жалобы их положили под сукно. «Да и не мудрено,— говорилось в корреспонденции,— ведь Верховский делает это по приказанию управляющего министерством и самого великого князя — брата царя». Далее в «Хронике» печатались заметки о притеснениях рабочих на Балтийском судостроительном заводе и об усмирении «поголовной поркой» бунта крестьян в Нижнем Тагиле из-за взыскания недоимок.

Завершался первый номер «Рабочего сборника» хроникой арестов по политическим делам, произведенных в Петербурге в январе и феврале 1894 года, и сведениями о рабочих пожертвованиях на издание «Сборника».

— По случаю благополучного рождения нашего первенца,— сказал Миша Сущинский,— следовало бы... хоть грогу стакан!

— Рождение еще впереди,— возразил Михаил.

— А это всего-навсего лишь зачатие,— уточнил, смеясь, Скабичевский.

— Вот именно,— подтвердил хозяин дома,— поэтому все получат по стакану чая.

— Хоть что-нибудь! — махнул рукой Миша Сущинский.

А потом Павел Скабичевский прочел свою статью, подготовленную для второго номера «Рабочего сборника».

Михаил, слушая его несколько монотонное чтение, снова подумал о том, что не ошибся, с первой встречи проникшись уважением и симпатией к этому человеку. Статья Михаилу очень понравилась. Написана она была по поводу учреждения министерства земледелия. Эту меру царского правительства многие общественные деятели, в том числе деятели, ходившие в опасных вольнодумцах и ниспровергателях основ, встретили шумным одобрением, можно сказать ликованием, расценивая ее как проявление особой заботы государя о благе своих подданных.

В статье Скабичевского эта мера правительства оценивалась несколько иначе, а именно как «забота царя-батюшки о своем народе, который он сам вконец разорил непомерными податями и всякими прижимками в угоду купцам да дворянам».

Далее не без яду сообщалось, что «умные и ученые люди, которые в газетах разных пишут, верят благим намерениям царя-батюшки, прославляют и славословят его да мудрое его правительство, и только один мужик, главный виновник всей этой кутерьмы, изверился злым опытом в благих намерениях правительства и твердит

лишь одно, что не будет, мол, добра, да и только. Мужик знает — он на собственной шкуре испытал,— каковы эти царские заботы».

В конце статьи Скабичевский еще раз повторил, что правительство обманывает народ, что таким обманом являлось и освобождение крестьян, когда правительство вынуждено было этим освобождением «спасать свою шкуру», и что такой обман продолжится до тех пор, пока народ не поймет, что «правительство есть его главный враг и что, только уничтожив правительство, народ может помочь своей беде».

Посвятив себя почти всецело политической пропаганде среди питерских рабочих, члены группы продолжали считать себя правоверными народовольцами. Михаил Степанович хорошо помнил, что никто не допускал и тени сомнения в этом. Пожалуй, лишь он один все чаще задумывался над вопросом — так ли глубоко ошибаются марксисты, отводя решающую роль в революции рабочему классу, и так ли безоговорочно правы народники, все надежды возлагающие на крестьянскую общину? Ясного и четкого ответа он еще не находил, но уже одно то, что именно эти вопросы все чаще и чаще заставляли его задумываться,— говорило о многом. И вот нежданно-негаданно произошло событие на первый взгляд малозначительное, но для него очень важное и в какой-то мере предопределившее его последующие шаги от народничества к революционному марксизму.

Как-то вскоре после студенческой сходки в кухмистерской Петрова на одно из занятий кружка, которое он вел на Выборгской стороне, в квартире рабочего Ивана Медова, пришла швея Наталья Григорьева, та самая, что два года назад ввела его под именем Петра Петровича в кружок Хорькова и Майорова и которой он по-

том помогал уехать из Петербурга от неминуемого ареста.

Наталья Григорьева от имени центрального рабочего кружка пригласила Петра Петровича на встречу с марксистами.

Он спросил, можно ли ему привести с собою еще кого-либо из их группы.

— Если ручаетесь за них,— ответила она и, заметив, как помрачнело его лицо, тут же оговорилась: — Не обижайтесь, Петр Петрович, знаю, что плохих людей не приведете, да такая уж жизнь наша подпольная, все время опаска на уме, да и на языке.

Он взял с собою тогда Мишу Сущинского и Бориса Зотова. Хотел пригласить и Павла Скабичевского — раз уж предстояла теоретическая полемика, его начитанность могла пригодиться. Но Павел куда-то отлучился из города, пошли на встречу втроем. Марксистов тоже пришло трое: Радченко, Красин и Старков. И человек десять рабочих из кружков с Петербургской и Выборгской стороны.

Рабочих привела на встречу настоятельная необходимость разобраться по существу в разногласиях между марксистами и народовольцами. Нередко случалось так, что в один и тот же кружок приходили и марксисты и народники и, споря между собой, ставили своих слушателей, особенно новичков, в тупик.

Рабочие недоумевали; им и в самом деле нелегко было разобраться. И те и другие называли себя революционерами, и те и другие обличали царя, и те и другие звали рабочих на борьбу,— и при всем том спорили друг с другом с таким ожесточением, как будто были не соратниками в общей борьбе с самодержавием, а смертельными врагами. В таком споре побеждал не тот, чьи доводы были глубже и основательнее, а тот, кто был речистее и бойчее.

Но рабочие жаждали доискаться истины.

Встреча марксистов с народовольцами для того и была устроена, чтобы дать им возможность сойтись в споре не один на один, когда могли сказаться личные качества спорящих, а группа на группу, то есть в условиях, когда личные качества не могли играть решающего значения.

На этой встрече позиция марксистов выглядела убедительнее. Речь шла в основном о том, какому классу быть вожаком в революции: рабочим или крестьянам? Марксисты выступали уверенно, приводили неопровержимые доказательства своей правоты. Все трое выступали очень рьяно. А у народников активных ораторов оказалось только двое. Михаил больше слушал спорящих, тщательно взвешивая их доводы. А если и вставлял иногда слово, то оно звучало не столько утверждением, сколько вопросом. Он, по сути дела, не других убеждал, а сам отыскивал истину.

Вспоминая впоследствии о выпуске в свет первого номера «Рабочего сборника», он говорил, смеясь:

— История мировой журналистики не знает примера подобной стремительности.

Так оно и было. Завершающая часть издательского процесса протекала в молниеносном темпе.

Расторопный Миша Сущинский раздобыл у кого-то из приятелей пишущую машинку. Коля Белецкий достал у знакомых слесарей две бензиновые лампы и большой жестяной лист, купил на рынке кастрюлю. Лев Карлович Чермак принес бумагу. Сам Михаил разыскал старого знакомого рабочего печатника Арсения Матвеевича Колодонова, того самого, который в свое время впервые ввел его в рабочий кружок и приохотил к делу пропаганды, и с его помощью приобрел типографскую краску. Вся редакционная коллегия (она же авторский коллектив) сборника преобразилась в типографских ра-

бочих. Трудились ночи напролет, и через трое суток весь тираж первого номера был готов. Правда, исчислялся этот тираж всего пятьюдесятью экземплярами — больше не позволяли «производственные мощности». Но и эти пятьдесят экземпляров привели авторов, редакторов и печатников в неистовый восторг. Аккуратно сброшюрованные, в обложках из плотной синей бумаги, сложенные на столе высокой стопой, выглядели они весьма внушительно. И когда кто-то, скорее всего деловитый Коля Белецкий, посетовал, что тираж маловат, Миша Сущинский решительно запротестовал:

— Вы просто не умеете масштабно мыслить. Это очень даже значительный тираж! Считайте сами! Каждый экземпляр прочтут не менее ста человек. За это я ручаюсь. Выходит — пять тысяч!

Конечно, Миша Сущинский хватил через край. Но никто не стал спорить с ним. Все были рады и воодушевлены первой удачей.

Катя от всей души поздравила мужа с выпуском первого номера. Она видела, как он радостно взволнован, и, конечно, не могла не порадоваться его успеху, которому сам он придавал столь большое значение. К тому же теперь, когда напряженная многодневная работа по составлению и выпуску «Рабочего сборника» завершена, он сможет наконец вплотную заняться главным делом. Сама она считала, что необходимая подготовка проведена: изучено расположение царских покоев; по размещению мебели можно определить назначение каждой комнаты дворца и, следовательно, понять, какие покои отведены самодержцу; изучены все внутренние переходы из конца в конец здания и с этажа на этаж; продумано наиболее вероятное размещение постов внутренней и наружной охраны.

Пришло, по мнению Кати, время посвящать в заговор всю «Группу народовольцев».

— Все, что я могла сделать одна, я сделала,— сказала она ему.

Но он опять возразил, что так как срок переезда царской семьи в Аничков дворец еще неизвестен, то расширять круг лиц, посвященных в заговор, преждевременно.

Катя вспыхнула:

— Значит, я по-прежнему буду одна, а вы все будете... бездействовать?

— Наши дела тебе известны. Мы будем готовить второй номер «Сборника» и вести занятия в рабочих кружках,— сухо ответил он. И, помолчав, добавил: — Если это значит бездействовать, ты права.

И тогда она сказала ему:

— Слушай, Михаил, а может быть ты... просто трусишь?

— Наверно, так оно и есть,— сказал он, глядя ей прямо в глаза.

Кате стало стыдно, стыдно до того, что слезы выступили у нее на глазах, и — что с нею случалось очень, очень редко — она попросила извинить ее и сказала, что эти мерзкие ее слова он должен забыть навсегда. Она так расстроилась, что уже он стал ее успокаивать и сам принялся наводить мосты. Как всегда бывало, это ему удалось. Условились твердо сразу после выпуска второго номера посвятить в тайну заговора Сущинского, Белецкого и Скабичевского.

— Я всегда знала, что ты лучше, умнее и добрее меня,— сказала ему Катя.

Много, много раз — и в томительно протяженные дни и ночи в тюремной камере петербургских «Крестов», и во время странствий по берегам могучей Лены и ее таежных притоков, и во время размеренных прогулок по берегу неправдоподобно красивого Женевского озера —

вспоминал он те несколько дней, которые прошли между этим их объяснением и арестом, разлучившим их на долгие годы...

И сейчас, лежа в холодной и неуютной дежурке на старом кожаном диване, болезненно ощущая всем телом продавленные пружины и еще не зная, кем ему предстоит быть в дальнейшей жизни — полноценным бойцом или жалким инвалидом, он, пролистывая в своем воображении прошедшее, не раз возвращался памятью к этим именно дням.

Эти дни, эти три дня — да, их было всего лишь три — выделились из лет, прожитых вместе.

Как бы снова вернулась ликующая радость самых первых дней их любви, только теперь к ней добавилась заботливая, выстраданная годами нелегкой скитальческой жизни нежность друг к другу и тревожная бережность, подсказанная пониманием неизбежной в их положении зыбкости этого снова озарившего их счастья...

Нет, никакого предчувствия близкого провала у них не было. И он и она были далеки от всякой мистики. Просто они понимали, что, замахнувшись на столь могущественного врага, как российское самодержавие, каждую минуту можно получить ответный, может быть и смертельный, удар.

Но, он хорошо помнит, и в голову не приходило, что эта минута так близка...

Уже после полуночи их разбудил резкий стук в дверь. Катя опомнилась первая.

— Не вставай, ты болен...— шепнула она Михаилу и, не одеваясь, в ночной рубашке, босая, кинулась к этажерке, собрала все лежавшие там рукописи и сунула их в топку печки. Быстро выдернула из-под кровати чемодан, отыскала ощупью спрятанный под стопкой белья

план Аничкова дворца и засунула его между рукописями.

Снова стук в дверь и резкая команда:

— Открывайте! Полиция!

Катя подошла к двери:

— Я одна... муж тяжело болен... не могу открыть... Приходите утром...

— Открывай!!!

— Я не знаю, кто вы... я боюсь... Помогите!..— истерически закричала Катя.

— Я полицейский пристав вашего участка Варфоломеев,— пророкотал за дверью строгий бас.— Имею ордер на обыск. Требую немедленно открыть!

— Я не знаю вас! — Катя торопливо сняла висячую лампу, плеснула керосин в топку печи и кинулась искать спички.

— Открывай! — снова рявкнул кто-то.

— Без дворника не открою! — Катя лихорадочно шарила по подоконникам.

— Где же дворник? — прикрикнул пристав на кого-то из полицейских чинов.

— Невозможно привесть.

— Почему?

— Пьян без памяти, ваше благородие.

— Тащите волоком!

Михаил встал, чтобы помочь Кате отыскать спички. Катя в темноте наткнулась на него, поволокла к кровати, зашептала ему в ухо:

— Ложись немедленно. Ты тяжело болен... Я уже нашла спички, нашла...

Осторожно нащупала печку, подожгла рукописи и прикрыла дверцу. Потом накинула на себя халат и, совсем обессилев, опустилась на стул.

Оглянулась на печь. Круглые отверстия дверцы высветились яркими точками в темноте комнаты. Хорошо,

что догадалась плеснуть керосина. Поднялась, привернула горелку, зажгла лампу и пристроила ее на место.

Наконец приволокли дворника.

— Открывайте, Катерина Михайловна, это я, Тимофей Затравкин. Открывайте, полиция требует,— пробормотал он коснеющим языком.

Катя открыла дверь. В комнату ввалилось несколько человек.

— Ваше благородие! — закричал полицейский.— Жгут прокламации!

— Достать! — приказал пристав.

Полицейский грохнулся на колени перед печкой, открыл дверцу и, обжигая руки, с руганью вышвырнул горящий пук рукописей на пол. Сдернул со стола скатерть и, набросив ее на рукописи, загасил пламя.

— Нехорошо, господа Александровы, нехорошо! А еще интеллигентные люди! Нехорошо! — протянул пристав, уселся за стол и приказал полицейскому: — Клади сюда! И обыскать все! Как следует!

Трое полицейских и филер в цивильном платье ринулись исполнять приказание. Искали ретиво. Перерыли, перетрясли все, до последнего лоскутка. Больного подняли с постели, обыскали самого, а затем прощупали с чрезвычайной дотошностью матрас и подушку. Но сколь ни старались, ничего полезного для следствия не нашли. Поневоле все внимание пристава переключилось на извлеченные из пламени рукописи.

Рукопись, оказавшаяся сверху, сильно обгорела, и пристав, стараясь не запачкать руки, отложил ее в сторону и углубился в чтение следующей.

Читал он старательно, пытаясь добраться до истинного смысла написанного, и в минуты особо сильного напряжения мысли шевелил толстыми губами и даже произносил про себя отдельные, особо встревожившие его слова:

— ...а что за штука такая хорошая — политическая и гражданская свобода...

Но тут же, опасливо покосившись на стоящего рядом филера, понижал голос до невнятного шепота, а то и вовсе откладывал в сторону крамольную страницу.

Но скоро это чтение ему надоело, он стал просто перелистывать страницы одна за другой, пока не наткнулся на сложенный вчетверо лист плотной бумаги.

Развернув его и поняв, что это план какого-то здания, пристав сразу оживился.

— Любопытно-с, любопытно-с...

Осмотрел подозрительно лист с обеих сторон и обратился к Михаилу:

— Что за чертеж?

— В первый раз вижу,— сказал Михаил и посмотрел на Катю достаточно выразительно.

Но она или не поняла его предостережения, или решила, что огульное запирательство только усугубит подозрительность пристава и, не дожидаясь дальнейших вопросов, сама вступила в разговор.

— Муж прав,— сказала она приставу,— он действительно первый раз его видит. Я ему этого плана еще не показывала. Я хотела сделать ему сюрприз.

Услышав про «сюрприз», филер злорадно усмехнулся, но на пристава это благополучное и столь не подходящее к данной ситуации слово произвело иное впечатление. От этого слова повеяло чем-то уютно-домашним, бесконечно далеким от его беспокойной и за долгие годы изрядно опостылевшей профессии, и он, вскинув голову, даже при свете не очень яркой десятилинейной лампы разглядел, что перед ним женщина молодая и очень даже привлекательная.

— Вы сказали, сударыня, сюрприз, соблаговолите пояснить, в каком именно смысле.

— Я его по памяти набросала,— принялась вдохно-

венно сочинять Катя,— и не успела еще закончить, поэтому и не показала мужу. Понимаете, я уже пятнадцать лет не была в этом доме, и кое-что забылось...

— Но позвольте, сударыня, как вас понимать? Вы хотите сказать...

— Да, да, это наш дом... в этом доме прошли мои детские годы...

Пристав в гимназиях не обучался, но сколь ни слабо разбирался он в чертежах, одно было даже и ему понятно, что дом огромный и, стало быть, дамочка не из пищих... всякое случается... и генеральские дочки тоже... тут как бы не оступиться... надо прояснить...

— Вы хотите сказать, сударыня, этот дом...

— Это дом моего отца,— с достоинством произнесла Катя.— Мой отец полковник Долгов... в отставке... он служил во Владикавказе. Это наш дом, я выросла в этом доме...

Немалых трудов стоило Михаилу удержаться от улыбки. Бедная Катя! Чего хочет достичь она такой примитивной ложью? Впрочем, он начинал догадываться о ее замысле. Катя лелеяла надежду, усыпив подозрительность пристава, заполучить в свои руки хотя бы на минуту злосчастный план, чтобы любым способом уничтожить самую опасную улику. Но это же наивная надежда...

Катя продолжала сочинять:

—...а теперь папа отдает этот дом нам... отказывает мне по завещанию... Понимаете, я хотела обрадовать мужа, сделать ему сюрприз... но вот не успела начертить как следует... забылось кое-что, все-таки пятнадцать лет... меня увезли в Петербург еще ребенком... Что вы так смотрите на меня? Это наш дом, наш!

— Ваш, ваш, уважаемая,— с язвительной вежливостью подтвердил филер.— Вы только извольте адресочек нам сообщить. Город, вы сказали, Владикавказ. Еще

улицу и номер дома. Адресочек нам сообщите, а мы-с проверим...

И тогда до пристава дошло, что его пытались водить за нос.

— Да-с, проверим...— строго сказал он и, оглянувшись на филера, приказал: — Пишите протокол!

Филер расположился за столом поудобнее, и на бумагу легли первые строки:

«В ночь на 21 апреля 1894 года произведен обыск в доме № 12 по Поварскому переулку у прапорщика запаса армии Михаила Степанова Александрова, каковой совместно с женою Екатериной Михайловой Александровой проживал в квартире под № 17. При обыске обнаружено...»

Нет, не помогла катина вдохновенная импровизация...

После того как закончилось многомесячное дознание по делу петербургской «Группы народовольцев», в обвинительном заключении было сказано:

«Все изложенные выше обстоятельства дела приводят к заключению, что начиная с 1892 года в Петербурге образовалось преступное сообщество, именовавшееся «Группой народовольцев», и что главными деятелями этого сообщества были обвиняемые Михаил Александров, Сущинский, Белецкий, Келлер, Константин Иванов, Василий Браудо, Фаддеев, Окольский и Скабичевский, из которых первые семь занимались революционной пропагандой среди фабричных и заводских рабочих, постепенно направляя их к восстанию и ниспровержению правительства в целях изменения существующего государственного и общественного строя.

В отдельности относительно каждого из привлеченных к делу обвиняемых произведенным дознанием выяснено следующее:

1. Михаил Александров, уже наказанный в 1885 году четырехмесячным тюремным заключением за государст-

венное преступление, участвовал в составлении изданного «Группою народовольцев» первого номера «Рабочего сборника», написал статьи революционного содержания для предполагавшегося второго номера того же «Сборника»; организуя противоправительственные рабочие кружки, руководил под псевдонимом «Петра Петровича» преступными занятиями: а) в рабочем кружке Хорькова и Майорова, где произносил революционные речи, давал рабочим читать нелегальные издания и ввел в этот кружок для таких же занятий Михаила Сущинского, б) в кружке рабочих Никифорова и Нефедова, где дал деньги на нужды кружка, и в) в кружке Матвея Фишера, совместно с Сущинским и Зотовым; кроме того, посещал кружок Ивана Медова...»

И заканчивалось это подробное перечисление всех вин его следующими строками:

«Кроме сего, народовольческое направление Александрова доказывается тем, что он имел у себя составленный для преступных целей план бельэтажа Аничковского дворца».

В этом же обвинительном заключении так сказано было о виновности Кати:

«10. Екатерина Александрова участвовала на сходке у Скабичевского в числе других членов «Группы народовольцев», совместно с Михаилом Александровым, хранила и читала рукописи революционного содержания и начертила копию составленного тайно и с преступными целями плана бельэтажа Аничковского дворца, который и хранила у себя».

И даже теперь, по прошествии стольких лет, не переставал он поражаться потрясающему цинизму финала всей этой полицейско-прокурорской акции.

Прокурор Санкт-Петербургской судебной палаты, подробнейше исследовав и описав все вины привлекае-

мых по данному делу, пришел к выводу, что «деятельность «Группы народовольцев» не достигла своей преступной цели, так как была пресечена возбуждением уголовного преследования», и потому решил до суда дело не доводить, а «разрешить настоящее дознание в административном порядке...».

Иначе сказать, прокурор установил, что вина обвиняемых не столь велика, чтобы предавать их суду.

Но что же крылось за туманной формулой о применении «административного порядка»?

А вот что:

«Прапорщика запаса армии Михаила Степанова Александрова, 32-х лет, заключить на три года в тюрьму и затем сослать в Восточную Сибирь на пять лет...»

«Жену прапорщика запаса армии Екатерину Михайлову Александрову, засчитав в наказание время, проведенное ею под предварительным арестом по сему дознанию, сослать в северо-восточные уезды Вологодской губернии на пять лет...»

То есть, прокурор-человеколюбец позаботился, чтобы и после отбытия наказания муж и жена как можно дольше не виделись...

Один пункт «административного» решения вызвал тогда у Михаила грустную усмешку:

«...усматривая из означенного дела, что одним из главных руководителей преступного сообщества является прапорщик запаса армии Михаил Александров, состоящий, как оказалось по справке в Главном штабе, на учете по Петербургскому уезду, и что обвиняемого этого предположено заключить в тюрьму на три года и затем выслать в Восточную Сибирь на пять лет, военный министр находит, что возникшее против Александрова обвинение, равно как и самый характер предполагаемой против него меры взыскания делают невозможным дальнейшее оставление его в запасе, а потому означенная

мера должна сопровождаться исключением Александрова из запаса армии».

Воистину права народная мудрость — нет худа без добра...

* * *

Сегодня радостный день. Приехал из кадетского корпуса на летние каникулы старший брат Володя. Начинается иная, куда более привольная жизнь.

И надежда на то, что начнется иная жизнь, наполняет сердце радостью. Потому что живется Мише не так уж привольно и весело. Он с утра до вечера под неусыпным надзором строгой Феоны.

Феона — это их кухарка и «прислуга за все». Ей давно за сорок, она высока и костиста. Невежественный, а скорее всего, просто пьяный поп дал ей при крещении мужское имя, и, может быть, именно поэтому у нее такой густой, прямо-таки басовитый голос, и тяжелая рука, и скорость на расправу.

Феона старательна, исполнительна и дотошна, как старослужащий солдат. Ей поручено следить за Мишей, и она не спускает с него глаз. Непонятно, как ухитряется она совмещать этот неусыпный надзор со своими многочисленными обязанностями горничной, прислуги и кухарки, но едва на минуту отлучишься с пустыря, горделиво именуемого садом, как Феона тут же поднимает истошный крик.

Наверно, Мише жилось бы вольготнее, если бы мать сама следила за ним, а не препоручала его заботам не в меру старательной Феоны. Но в их доме все не как у других... Матери некогда следить за Мишей. Она искусно вышивает гладью; искусство это высоко ценится, и у нее всегда масса заказов от воронежских модных барынь. И большую часть дня — если ее не отрывают от дела праздными разговорами заказчицы, или если она не занята очередной перебранкой с отцом — она проводит

за работой. А перебранки с отцом — почти каждый день. И все по одному и тому же поводу. Отец долго болел, потерял хорошо оплачиваемое место в губернском казначействе, с трудом снова устроился на службу, но жалованье у него теперь всего сорок рублей в месяц; на эти деньги невозможно прилично содержать огромную семью и, чтобы сводить концы с концами, мать целые дни корпит над вышивками. Мать корит отца дворянскими привычками, особенно картежной игрой, хотя играет отец по копеечной ставке, с постыдной прижимистостью дрожа над каждым грошом. Отец попрекает ее неумением вести хозяйство, распущенностью и пьянством Феоны, плохим воспитанием детей.

И отец и мать не правы; слушать их почти ежедневные ссоры скучно и противно. Убежать бы из дому куда глаза глядят, да Феона начеку.

Но теперь власть Феоны кончается. К кадету Володе она благоволит больше чем к кому бы то ни было из всей семьи. Высокий красивый мальчик, выучится, офицером станет. А Феона с молодых лет обожает военных. От солдата местной конвойной команды у нее двое детей, которые живут здесь же в доме и которых она усердно лупит по всякому поводу, а часто и без всякого повода.

Особенно достается маленькой Катеньке, которая родилась вскоре после того, как солдат бросил Феону ради другой, более состоятельной подруги жизни. Покинутая мать вымещала на новорожденной свое огорчение. Миша всегда заступался за малышку и, едва заслышав крик ребенка, бежал на кухню и начинал молотить кулаками Феону по спине до тех пор, пока она не прекращала бить ребенка.

К Мише Феона тоже благоволила и если следила столь строго за ним, не отпуская с глаз, то лишь потому, что опасалась, не обидел бы кто на улице малое

дитя, не попал бы под лошадь, не свалился бы в овраг, или еще не приключилась бы какая беда с несмышленком. Миша пытался убедить ее, что не один же он бегает по улице, их целая компания, и кто же их посмеет обидеть. Но Феона не поддавалась на Мишины уговоры.

— Такие же огольцы, как и ты,— отмахивалась она,— что Гришка, что Егорка...

— А Тимофей? — возражал ей Миша.— Он с тебя ростом и знаешь какой сильный!

Тимофей был сыном легкового извозчика, жившего неподалеку и державшего два выезда. Тимофею было лет четырнадцать-пятнадцать, и отец нередко сажал его на козлы и отправлял на заработки.

— А Тимофей вам вовсе не компания,— строго выговаривала Феона.— Нашли с кем дружбу водить, вы чиновничьи дети, а он кучерской сын.

— Ну и что, что кучерской? — заступался за товарища Миша.

— А то, что не ровня! — уже сердито обрывала Феона.— И ему нечего к господским детям лезть. Всяк сверчок знай свой шесток! И вам нечего с ним компанию водить. Только срамным словам обучаться. Скажу вот Ольге Николаевне, каких словечек сынок ее нахватался.

Но эта угроза не могла устрашить Мишу. Он знал, что Феона никогда его не выдаст. Только стыдно, конечно, было, что она услышала...

На следующий же по приезде день Володя обрадовал несказанно:

— Сегодня поедем на рыбалку.

— А куда? — спросил Миша.

— За Собачью щель.

— А где это?

— Где-где... На реке, конечно.

— А с кем поедем?

— Я сговорился с Тимофеем,— сказал Володя,—

а ты позови своих дружков Гришу, Егорушку и Сашу.

— Сашу не надо,— сказал Миша.

— Почему?

— Он совершил подлость,— очень серьезно ответил Миша.

— Какую?

И тогда Миша рассказал брату следующую историю.

Егорушка очень боится собак. А Саша сказал, что знает такую молитву, если прочитаешь — ни одна собака не тронет. И сказал, что если Егорушка насыплет ему три шапки проса — они оба держат голубей,— то он его научит этой молитве. Егорушка сперва не поверил. Саша побожился. Егорушка все равно не поверил. Тогда Саша дал честное слово. Егорушка тогда поверил. Саша сбегал домой, принес большущую отцову шапку и забрал у Егорушки почти все просо, которого тому хватило бы, наверно, на целый месяц. И прочитал ему молитву «Отче наш», которую и без того все знают. Егорушка понял, как бессовестно его обманули, и заплакал, но Саша еще раз дал честное слово, что именно эта молитва оберегает от собак. Егорушка прочитал молитву и пошел в соседний двор, где злая собака, но та его покусала. Потом Миша сам проверил, и тоже оказалось, что молитва не помогает...

— И тебя покусала? — спросил Володя.

— Нет, я убежал,— сказал Миша.

Володя расхохотался и сказал, что Егорушка сам виноват, раз поверил такой глупой басне.

— Как ты не понимаешь! — возмутился Миша.— Ведь он дал честное слово! И обманул. А это подлость!

— Ишь ты какой! — удивился Володя и спросил.— А что такое подлость?

Миша даже поразился никчемности вопроса. Неужели брат, такой большой, сам не понимает? Это же каждому понятно и известно.

И тут же объяснил, подробно и основательно:

— Ябедничать на товарищей — подлость; выдать тайну — подлость; дать честное слово и не сдержать — подлость; ну и еще мучить людей, кожу с живых сдирать, как с Иуды Маккавея — тоже подлость; и вообще преследовать людей, которые за правду...

— Кто тебе про Маккавея-то рассказал? — полюбопытствовал Володя.

— Сам прочитал.

— А про тех, кого за правду преследуют?

— Ну, слышал...

Слышал, как разговаривали между собой приезжавшие из Петербурга студенты — мамин брат и два его товарища. Но это тоже была чужая тайна, и разглашать, от кого слышал, тоже было бы подлостью.

Поездка назначена на завтра, а сегодня, сразу же после обеда, все рыболовы собрались в дальнем углу пустыря, за ветхим сараем, у самого обрыва, там, где с незапамятных времен лежит груда бревен. Со слов Феоны известно, что бревна эти припас еще старый барин, отец Степана Николаевича, намереваясь прирубить пристройку к дому. Намерение не осуществилось, и с тех пор бревна лежат на задворках. Они давно уже рассохлись и растрескались, а некоторые и поистлели. Феона не раз говорила Ольге Николаевне, что надо распилить на дрова, зачем покупать на базаре, когда тут хватит на целую зиму. Но Степан Николаевич не позволял. Он все еще надеялся употребить бревна по прямому назначению. Хотя все понимали, да и сам он тоже, что какая уж там пристройка, когда и лавочнику-то задолжали...

Но как бы то ни было, а бревна продолжали лежать огромным штабелем в углу пустыря и сделались любимым прибежищем детской компании.

Собрались все участники завтрашней экспедиции: кроме Миши и Володи на бревнах восседали шустрый и

востроглазый соседский мальчик Гриша, худенький и застенчивый Егорушка и, конечно, Тимофей, которому принадлежала ведущая роль в осуществлении задуманной затеи: на него возлагалась особо трудная обязанность — раздобыть лодку.

Володя и Тимофей сидели несколько обособленно от младших и оживленно переговаривались.

Потом Володя сказал:

— Надо тридцать копеек.

Младшие навострили уши. Зачем? Но спросить не решались. Надо,— значит, надо.

— У меня есть пятнадцать копеек,— продолжал Володя.— Добавляйте!

У Миши было пять копеек, припасенных на леденцы. Он без колебания отдал их брату. Гриша сделал вид, что увлечен синицей, порхающей с ветки на ветку, и совсем не слышит, о чем говорят. Егорушка сказал, что дома у него есть десять копеек и вызвался сходить принести.

— Ладно, вечером отдашь,— говорит Володя,— остальные я уж сам добавлю,— достает деньги и отдает тридцать копеек Тимофею.

Тимофей быстро уходит и вскоре возвращается с каким-то предметом, завернутым в синюю оберточную бумагу.

— Отлично! — говорит Володя.

Младшие многозначительно переглядываются. Они тоже все понимают, но виду не подают. Таковы условия игры.

— Пшено не забыли? — спрашивает Володя.

— Я взял,— отвечает Егорушка.

Володя подает команду:

— Следуйте за мной!

По узкой тропке, врезанной в косогор, все спускаются вниз к реке. Там вдоль берега примостились домишки городской бедноты.

Против одного из них чернеет на прибрежном песке длинная черная лодка. Тимофей передает синий сверток Володе — у всех остальных руки заняты: несут удочки, котел, торбы с едой и посудой — и заходит во двор.

Тут же возвращается с веслами на плече, сопровождаемый древней старухой, несущей в руках жестяной ковш и грязную холщовую тряпку.

Лодка лишь наполовину вытянута на берег, корма ее наполнена водой. Тимофей и старуха раскачали лодку, часть воды выплеснулась. Старуха ушла. Тимофей забрался в лодку и, энергично действуя сперва ковшом, потом тряпкой, осушил и протер ее. Все уселись, оттолкнулись от берега, и Володя скомандовал:

— Курс — зюйд-вест!

Вряд ли Тимофей понял команду, но в данном случае это не имело значения: только он знал, куда им надо плыть.

Тимофей вел лодку вдоль берега. Миша лежал на носу и смотрел в воду, иногда озирался по сторонам. Вот миновали плот, на котором женщины стучали вальками по мокрому белью и переговаривались, стараясь перекричать друг друга. Домишки, протянувшиеся вдоль берега, становились все меньше. Наконец и последняя хата осталась позади. Пошли однообразные луга, окаймленные полоской лозняка...

Наконец-то выбрались из города... Миша — мальчик городской, родился и вырос в городе. Но в самом раннем детстве ему посчастливилось два лета провести на природе. У отца в уезде, на речке Усерд, был небольшой наследственный хутор с несколькими десятинами земли — жалкие остатки земельных угодий, принадлежавших ныне оскудевшему дворянскому роду Александровых. Всего-то и было на хуторе: крохотный домик, окруженный запущенным садом, но все равно летом там было куда лучше, чем в пыльном городе.

Тем более, что неподалеку от хутора, там, где Усерд впадал в извилистую, заросшую кувшинками степную речку с ласковым названием Тихая Сосна, стояла мельница Мишиного дяди Петра Николаевича, и на этой мельнице Миша гостил очень часто. Здесь было куда привольнее, чем на крошечном отцовском хуторе. Широко разлившийся мельничный пруд с заливами, убегавшими в густые заросли камыша; глубокий омут за мельничной запрудой, окруженный раскидистыми ветлами; степь, полого вздымавшаяся по обоим берегам реки; темная кайма дальнего леса, уходящего за горизонт.

Здесь, на берегах Тихой Сосны, соприкоснулся Миша впервые с природой родного края, привык к ней, научился любить и ценить ее. Потом хутор пришлось продать, чтобы рассчитаться с обременявшими семью долгами, и вот уже несколько лет Миша безвыездно жил в Воронеже. Тем отраднее было хоть ненадолго выбраться за город, на природу...

Так хорошо лежать на носу лодки и смотреть в воду. Длинные мохнатые стебли, переплетаясь друг с другом, плавно колышутся, колеблемые течением. Между водорослями виднеется гладкое песчаное дно, местами усеянное камешками и раковинами. Среди колышущихся стеблей снуют стайки крохотных рыбешек. Испуганные надвинувшейся тенью от лодки, рыбки, как по команде, резко меняют направление и стремительно соскальзывают в темную глубину.

«Прыснули, точно воробьи в кусты»,— думает Миша и поднимает голову от воды.

У самого берега на стебле молодого камыша пристроилась какая-то птичка. Стебель согнулся под нею, и птичка, почти касаясь воды, глядится в нее. Низко, над самой гладью реки, порхают стрекозы и отражаются в воде.

«Как хорошо! — думает Миша.— И никто не знает,

куда мы поехали. Пусть теперь посылают Феону хоть по всему городу, никто нас не найдет, никто нам не помешает...»

Но есть и менее терпеливые.

— Скоро доедем? — спрашивает Гриша, ему уже невмоготу сидеть в лодке без движения.

— Успеешь,— коротко отвечает Тимофей.

— А когда Собачья щель? — с трепетом в голосе спрашивает Егорушка.

Егорушка, единственный из всей компании не умеет плавать и потому панически боится воды. Страх не покидает его с той самой минуты, как между лодкой и берегом образовалась широкая полоса пугающей воды. А впереди еще Собачья щель! Что это такое, никто, кроме Тимофея, толком не знает. На вопрос Егорушки он коротко, но многозначительно бросает:

— Потерпи, увидишь...

Река крутым зигзагом сворачивает сначала направо, потом налево.

— Вот она и есть! — торжественно произносит Тимофей.

Миша, подняв голову, смотрит вперед, но не видит там ничего страшного. И при чем тут собака? Русло реки резко сужается и уходит вдаль, прямое, как канал. Берегов нет, лозняк густо растет прямо из воды. Кажется, что Тимофей вот-вот заденет веслами гибкие, клонящиеся к воде прутья.

— Смотри под себя! — приказывает Тимофей.

Миша заглядывает в воду и чувствует, как страх подбирается к нему. Вместо светлого песчаного дна он видит темную пучину. Далекое небо с облаками словно ушло под воду и стало теперь, на беспредельно огромной глубине, дном этой страшной реки... Вдоль расщелины дует нестихающий ветер, и поднятая им зыбь дробным рокотом плещет в борта лодки. Кажется, вот-вот она

рассыплется, и все пойдут под воду к этим далеким, далеким облакам...

— Надо ближе к берегу,— жалобно просит перепуганный Егорушка.

И Миша глубоко благодарен Егорушке. Еще немного, и он сам взмолился бы.

Тимофей подводит лодку вплотную к густой стене лозняка и, взяв весло за самый конец, толкает его в воду. Весло уходит вместе с рукой.

— Дна нету! — говорит Тимофей, вставляет уключину в гнездо и гребет дальше.

После этого стало совсем страшно. И одно только теперь на уме: хоть бы греб Тимофей побыстрее, чтобы выбраться поскорее из этой проклятой щели! А он совсем не торопится, после каждого рывка медленно отводит весла назад, словно любуясь, как скатываются с лопастей прозрачные капли. Наконец можно перевести дух. Приближается конец щели, уже виден низкий радостно-зеленый луг с раскидистыми ветлами по всему берегу. Вырвавшаяся на простор река делает еще один крутой поворот, разливается все шире и шире, и заголубевшую гладь ее вспарывает далеко выдвинувшийся голый песчаный мыс.

Тимофей разгоняет лодку, и она под косым углом вонзается в пологий песчаный берег. Не дожидаясь, пока Тимофей выдернет лодку на песок, малыши выскакивают из нее прямо в воду, выбираются на песок и отплясывают радостный танец. Очень приятно почувствовать себя на твердом берегу и заодно размять затекшие ноги!

— Купаться! — командует Володя.

Вмиг все сбросили одежду и опрометью кинулись в воду. Тимофей и Володя сразу же крупными саженками заплыли на середину реки. Миша и Гриша потянулись было за ними, но вовремя спохватились и, отчаянно бултыхая руками и ногами, плавали наперегонки вдоль бе-

рега, время от времени проверяя, есть ли под ногами дно.

А не умеющий плавать Егорушка уселся в двух шагах от берега, где воды было всего по колено и поливал себя из горсточки. Такое купание, конечно, не могло доставить большого удовольствия, и, поплескавшись немного, Егорушка направился к берегу.

Наконец все накупались досыта. Пора заморить червячка. Большая коврига хлеба разрезается почти пополам. Бо́льшую половину Володя укладывает обратно в торбу — это к обеду, вторую делит на пять равных ломтей. Из другой торбы достается сваренная в мундирах картошка, завернутая в холщовую тряпочку соль и на каждого по вареному яйцу.

Все это удивительно быстро съедается. Когда с едою покончено, Володя развертывает синий пакет, в котором покоится казенный штоф с темно-красным церковным вином.

Все прекрасно знали, для чего собирались деньги и за каким продуктом ходил в лавочку Тимофей, и все же появление наполненного вином сосуда вызывает общее ликование и радостный визг младших.

Володя подносит каждому по маленькому граненому стаканчику, последним выпивает сам, а затем начинается самое интересное. Володя входит в воду и, осторожно погрузив штоф, пополняет убыль в сосуде. Затем торжественно вскидывает руку, выставляя штоф для всеобщего обозрения, и каждому видно, что он снова наполнен до краев почти таким же густо красным вином. Больше всех ликует и радуется Гриша. Это законное ликование изобретателя. Именно он еще в прошлом году придумал такую хитроумную затею.

И сейчас, когда Володя выходит на берег с полным штофом, Гриша, весело хихикая, провозглашает:

— Как Исус Христос, воду в вино превращаю!

Но эта его шутка не встречает одобрения.

— Говори, да не заговаривайся! — строго обрывает богохульника Володя.

— А то и по сопатке схлопотать можно! — строго добавляет Тимофей.

Гриша обиженно отворачивается. Подумаешь, уж кто бы за Христа заступался, только не Тимофей. Сам-то, когда разойдется, всех переберет, всем достанется: и святой богородице, и архангелам, и самому господу богу... А тут и пошутить нельзя. Понятно: просто завидки берут, что не он додумался...

Перед тем как заняться главным делом, Володя еще раз подносит всем по стаканчику, после чего снова забредает в реку — и снова штоф полнехонек...

И так повторяется много раз, пока содержимое штофа ни на цвет, ни на вкус, ни на запах не станет отличаться от обычной речной воды.

А главное Володино дело, которому он предается с увлечением, можно сказать, с азартом,— это приготовление кулеша. В этом искусстве Володя поднаторел во время учебных походов в кадетском корпусе. Прежде всего надо выбрать удобное место для костра. Володя обходит прибрежные заросли лозняка и обнаруживает полянку со следами кострища — черным кругом выжженной земли, обгорелыми колышками тагана, разбросанными вокруг кусками бумаги.

Часть работы, самую трудоемкую, кто-то уже сделал за них: топора с собой не взяли, и вырезывание кольев для тагана володиным перочинным ножом отняло бы очень много времени.

А Миша огорчен: значит, кто-то побывал здесь раньше, значит, не такое уж это необитаемое место, вовсе они не первооткрыватели...

Все занялись делом. Тимофей и Гриша, забрав удочки, уселись в лодку и поплыли куда-то вниз по течению.



Мише и Егорушке поручено наносить дров для костра. Володя отправился вырезать поперечину для тагана. Обошли берег, но подходящих дров поблизости не нашлось. Принесли по охапке сухого камыша и мелких прутьев. Володя сказал, что этого не хватит, пошли и принесли по второй охапке. Сам Володя в это время промыл пшено, порезал мелкими кубиками свиное сало и начистил картошки. И вот уже эмалированный чугунный котел, наполовину заполненный водой, висит на тагане, шустрые, почти бесцветные при ярком солнечном свете язычки пламени облизывают закопченное днище; вода закипает. Володя, тщательно примериваясь, отсыпает на ладонь кучку соли из бумажного фунтика, бросает в котел, пробует и засыпает пшено, непрерывно помешивая. Когда варево вновь закипает, Володя какое-то время томит пшено на малом жару, после чего опускает в котел сало и мелко порезанный картофель. Теперь самое главное — следить, ...бы варево не подгорело. Это уже забота главного ка...а, и Володя отпускает своих помощников.

...орушка отходит подальше от костра и укладывается ...и, под развесистой ветлой. Миша хотел было последовать его примеру, но тут же укорил себя: валяться на траве можно и дома на задворках. Уж если забрались в такую даль, в такие расчудесные первобытные места, так надо обойти, осмотреть все окрест и прежде всего отыскать, где укрылись рыболовы. Среди зарослей лозняка едва просматривается узенькая тропинка. Она идет в том же направлении, куда уплыли Тимофей с Гришей. Миша, собравшись с духом, решительно ныряет в заросли. Тропинка петляет, огибая старые полусгнившие пни и лужицы, заполненные водой и тиной, и вскоре уже Мише кажется, что он сбился с курса и идет совсем не туда. Можно, конечно, крикнуть, Володя отзовется. Но будут ...м смеяться и дразнить... Миша начинает вспоминать, где было солнце, когда он сидел у костра и смотрел на

реку? Солнце было за спиной. Потом он пошел к зарослям направо. Значит, если солнце будет у него справа, как сейчас, то он удаляется от костра, а когда будет возвращаться к костру, надо следить, чтобы солнце было слева. Вот и все! А солнце хорошо видно даже через самые густые заросли, и на небе не осталось ни одного облачка, так что тревожиться нечего...

Миша медленно пробирается между кустами. Тропинка то выбегает на поляну, то снова ныряет в заросли, то прижимается к самой реке и извивается по невысокому берегу, который, однако ж, отвесно падает к воде, а она здесь темная, почти черная, и не обещает дна. В таких местах Миша жмется к берегу, хватается за ветви, иногда обжигаясь о крапиву. Потихоньку подползает опасливая тревога: не пора ли возвращаться? Да и солнце уже опустилось ниже. Или это кусты лозняка здесь такие высокие и густые, что временами совсем заслоняют солнце, и тогда даже кажется, что наступают сумерки... Может, пока еще видно солнышко, лучше повернуть назад? Но и досадно, что не удалось разыскать рыболовов. Наверно, они уже совсем близко, не могли же уехать за несколько верст... А может быть, он уже прошел мимо них, может быть, не заметил, и они остались далеко позади?

Стало совсем жутко. Миша останавливается в нерешительности. И назад не хочется поворачивать, не дойдя до цели, и вперед ноги не идут...

Наконец он перебарывает свой страх и почти бегом бросается вперед по едва различимой тропе. Гибкие прутья хлещут его, и такое ощущение, что кто-то старается задержать и не выпустить из этой чащи. Он рвется вперед, думая лишь о том, чтобы как можно быстрее выбраться на простор, пробегает еще несколько шагов... и едва успевает удержаться над самым обрывом.

Перед ним довольно широкий залив с едва заметным протоком в русло реки, похожий больше на продолговатое

озеро. Противоположный берег залива скрыт камышом. Над сплошной густо-зеленой стеной возвышаются темно-коричневые султаны. Верхушка залива тоже прячется в зарослях камыша. И совсем неподалеку от того места, где он вырвался из чащи, под кустами приткнулась лодка.

Гриша и Тимофей сидят на корточках у самой воды и не спускают глаз с разноцветных поплавков. Неизвестно даже, заметили ли они его появление. Миша застывает на месте, рыбалка требует священной тишины. Один из Гришиных поплавков скрывается под водой. Миша, забыв обо всем на свете, кричит:

— Тяни!

В воздухе мелькает серебристая рыбка, срывается с крючка и с громким всплеском шлепается в воду.

— Из-за тебя! — с досадой произносит Гриша, показывая кулак приятелю.

— Принесло тебя...— ворчит Тимофей.— Что тебе, на всем берегу места мало?

— Много наловили? — спрашивает Миша, зная, как задобрить рыболовов.

— Гляди! — и Гриша вытягивает из воды кукан, на который нанизано десятка два плотвичек.

— А у него? — спрашивает Миша.

— У него больше,— признается Гриша. И, разведя руки без малого на поларшина, добавляет: — Он вот такого окуня поймал и еще одного чуть-чуть поменьше.

— Хорошей ухи наварим! — радуется Миша.

— Смотри, костью не подавись! — совсем недружелюбно отвечает Тимофей. Ему рыба нужна для других целей. Если принесет рыбы, отец не так будет ругаться, что проболтался где-то весь день.

— Я за вами пришел,— говорит Миша, заметно огорченный тем, что ухи не будет.

— А кулеш готов? — осведомляется Гриша.

— Наверно, готов,— говорит Миша.— Пшено уж когда засыпали...

— Ему еще упреть надо,— деловито замечает Тимофей.— Поспеет — позовут.

Он еще во власти рыбацкого азарта, и ему совсем не хочется уходить.

Или разговорами распугали рыбу, или просто время клева закончилось, только ни один поплавок даже не дрогнет на глади воды...

— Может, поедем?..— робко предлагает Гриша.

Но Тимофей, не отрывая глаз от поплавков, с досадою машет рукой — хватит болтать! — и Гриша, сглотнув голодную слюну, тоже забрасывает удочку.

Проходит еще несколько бесполезных минут. Миша чувствует себя виноватым: видно, при нем рыба не ловится. И ему приходит в голову, что сейчас самое лучшее — уйти отсюда... Размышления его обрываются донесшимся из кустов криком Егорушки:

— Ребята! Ужинать!

Тимофей и Гриша вытаскивают из воды и сматывают свои рыболовные снасти.

— С нами, что ли, поедешь? — довольно сухо предлагает Мише Тимофей.

Миша, хорошо понимая, что Тимофей сердит на него, отказывается:

— Сам дойду,— и, круто повернувшись, ныряет в кусты.

На тропинке едва не сталкивается с Егорушкой. В первый миг оба напуганы, потом непритворно обрадованы, особенно Егорушка. Он так же, как и Миша, начал опасаться, что заблудился в кустах, и когда кричал, приглашая к ужину, то вовсе не был уверен, что рыболовы так близко и его хоть кто-нибудь услышит.

До чего же вкусен хорошо разопревший кулеш, слегка отдающий дымком! Уничтожали его с таким стремитель-

ным рвением, какого никогда не удостаивались блюда, приготовленные трудолюбивой Феоной.

Тимофей заикнулся было, что пора уже подаваться к дому, но солнце стояло еще высоко, и младшие все в один голос решительно воспротивились. Володя стал на их сторону. Ему-то после казарменной муштры в кадетском корпусе вовсе обрыдли все взрослые, и совсем не тянуло домой.

Немного передохнув после обильной еды, снова потянулись к реке: купались, гонялись друг за другом по прибрежной отмели, ловили раков под осклизлыми корягами и снова носились, вздымая фонтаны брызг.

Перед отъездом Миша побежал на примеченную еще утром поляну и набрал большой букет пахучих полевых цветов для сестренки Людочки.

За весла садится Володя. Миша, как и утром, пристраивается в носу лодки, но уже не заглядывает в воду. Его, как и остальных малышей, изрядно напекло горячим солнцем, разморило от усталости, и он сидит, подтянув колени к подбородку, таращит слипающиеся глаза и держит обеими руками собранный для младшей сестры букет. Впрочем, уснуть сейчас довольно мудрено. На вечерней реке шумно и оживленно. Совсем не то, что было утром, когда их лодка одна-одинешенька пробиралась вверх по течению. Сейчас их то и дело обгоняют лодки, заполненные разряженными барышнями и кавалерами. Со всех сторон смех, веселый гомон.

Наконец их лодка остается позади. Шум и гомон удаляются, и Миша снова начинает клевать носом.

— Букет уронил! — кричит Гриша и довольно чувствительно толкает его в бок...

Михаил Степанович, стиснув зубы, подавил готовый вырваться стон... Все-таки эти подпирающие обшивку, перекосившиеся пружины не для контуженного...

До рассвета еще далеко. Надо постараться снова заснуть. Заснуть, не тревожа никого, все и так с ног сбились... Вот только бы чуточку сдвинуться, чтобы проклятая пружина не упиралась так в ноющее ребро.

Вспомнив оптимистическое заверение благообразного профессора, подумал с усмешкой:

«Тут, дорогой профессор, не то что бомбы кидать, с боку на бок повернуться невмоготу...»

Но что же это такое с ним было сейчас?

Тут и сон, перемежаемый воспоминаниями, и воспоминания о давних размышлениях.

Но как же все хорошо помнится и видится... Ну прямо как наяву. Еще бы!

Все это он пережил дважды: в далеком воронежском детстве и второй раз — через двадцать с лишним лет в петербургских «Крестах», в мрачной тюремной одиночке, когда на третьем году заключения написал в камере первый свой рассказ — «Собачья щель»...

* * *

Уснуть в эту ночь больше не удалось.

Мрачное слово «Кресты» всколыхнуло тяжкую глыбу воспоминаний, одна за другой замелькали в памяти сцены и картины тюремной жизни — нет, тюремного существования, называть которое жизнью не только несправедливо, но и просто кощунственно,— и тут уж, конечно, было не до сна...

До «Крестов» пришлось отсидеть девять месяцев в Петропавловской крепости и еще двенадцать месяцев — в Доме предварительного заключения — всего, без малого, два года. Все это время шло следствие, или, выражаясь казенным языком, дознание.

До чего уж там пытались дознаться — неизвестно, все вины были на виду, надо полагать, просто не хватало этих вин, чтобы расправиться с неблагонадежными (вот уж

неблагонадежность, то есть то, что не следует возлагать на них благие надежды, была очевидна, и доказывать ее не требовалось) молодыми людьми так, как они того заслуживали, по мнению властей предержащих или, точнее сказать, так, как властям хотелось.

На этих молодых людей давно зуб горел у царского правительства. Еще благополучно убиенный Александр Второй многие годы вынашивал сокровенную мечту: выстроить в киргизских пустынных степях город, обнесенный высокой стеной, и свезти туда нигилистов со всей Руси, пусть там на досуге *просвещают* друг друга.

Осуществить свой великодушный замысел царю-освободителю не удалось. Неподъемно оказалось выстроить город в киргизских степях. Пришлось рассылать нигилистов по разным местам, по разным окраинным углам обширного отечества. Кого — на Мезень и на Печору, кого — на Обь и на Енисей, а кого и вовсе за тридевять земель — на далекую Лену и затерянный в северных тундрах Вилюй...

А чтобы не стеснять себя рамками хотя и царских, но все же законов, власти предержащие изобрели исключительно удобный способ — рассмотрение дел в административном порядке — то есть, по сути дела, сконструировали пригодную для любого беззакония, безотказно действующую машину административного произвола.

Если бы Михаила, Катю и их товарищей по «Группе народовольцев» судил суд, то в соответствии с действующими законами Российской империи признанные наиболее виновными были бы сосланы в Сибирь, прочие — тоже сосланы, но в места не столь отдаленные.

Более сурового приговора быть не могло, так как они лишь «злоумышляли», но ничего еще не «преступили»; сам прокурор в обвинительном заключении вынужден был признать, что «деятельность «Группы народовольцев» не достигла своей преступной цели».

Вот тут-то и пригодилась «административная машина»: под суд их не отдали, а *разрешили* их дело в *административном порядке*.

Когда узнал, что суда не будет, подумал: кажется, пронесло! — и с некоторым даже ухарским задором оглядел свою камеру. И уже начал прикидывать, на какую окраину придется проследовать! Хотелось, конечно, поближе к столицам, но чтобы потом не пришлось разочаровываться, приуготовлял себя к Восточной Сибири, так как знал, что именно эта часть государственной территории особенно охотно использовалась «администраторами».

«Административная высылка — это не наказание, а только мера предупреждения и пресечения преступлений. Поэтому вы и не подвергаетесь никаким ограничениям прав и преимуществ»,— с любезной предупредительностью объяснил ему щеголеватый товарищ прокурора.

После столь заботливого и любезного осведомления оставалось только ожидать, скоро ли распахнутся двери камеры-одиночки и можно будет, не теряя своих прав и преимуществ, проследовать в назначенное ему место ссылки. Путешествие по этапам, последующая жизнь в тайге или тундре, в обнимку со своими правами и преимуществами, после двухлетнего почти пребывания в тюремной одиночке выглядели в воображении почти равнозначащими освобождению.

Увы! Разочаровываться пришлось, можно сказать, не сходя с места.

Тут же вспомнилось, как не единожды, беседуя с рабочими и помогая им разобраться в истинной сущности событий общественной жизни, обрушивался он на заскорузлость всего уклада империи Романовых, на неимоверную, умопомрачительную косность российской администрации.

И вот оказалось, что там, где ей полезно, эта самая российская администрация проявляет незаурядную гиб-

кость в толковании и практическом применении правительственных указов и установлений. На сей раз эта эластичность пребольно ударила по нему. К предельному сроку административной высылки, определенному законом в пять лет, ему еще добавили — также в качестве меры «предупреждения и пресечения» — три года тюремного заключения.

И таким образом, с учетом уже проведенного в тюремной одиночке времени пресловутая «мера пресечения» по отношению к нему определялась в пять лет тюрьмы с последующими пятью годами ссылки.

Отчетливо, до мельчайших подробностей, запомнилось, как вселялся в «Кресты».

Подвезли в тюремной карете с двумя конвойными, словно убийцу или опасного грабителя. Первым вышел из кареты старший конвоир, затем выпустили его, следом выскочил второй солдат. И сразу же стали по бокам с обеих сторон. Убежит, не ровен час, государственный преступник. А преступнику еще и не оглядеться. Солнце, особенно яркое после полумрака кареты, заставило зажмуриться.

Подвели к воротам тюрьмы.

— Обожди! — приказал старший.

Михаил тут же возразил, спокойно, но твердо:

— Не обожди, а обождите!

Старший отмахнулся:

— Все равно.

— Вовсе не все равно. Вы унтер-офицер, а не знаете, как до́лжно вести себя,— и уже нарочито громко: — Я буду жаловаться начальнику тюрьмы!

Неизвестно, чем бы окончился для него такой разговор, будь он за воротами тюрьмы. Но здесь, на улице, на виду у прохожих, которые уже начали останавливаться и при-

слушиваться, унтер-офицеру препираться с арестантом не с руки. Унтер службу знает и понимает отлично, что лишний шум тут ни к чему, начальство за это не похвалит.

И он круто сбавляет тон:

— Потрудитесь обождать!

Первая — в новом состоянии человека, без судебного приговора заключенного в тюрьму,— попытка отстоять свое человеческое достоинство.

Первая, ничтожно малая, но — победа.

Были в тюрьме не только часы и минуты, но и дни и недели уныния и тоски, когда от одной мысли, что еще столько-то и столько-то сотен дней и ночей придется провести в этих стенах, готов был впасть в отчаяние и биться головой о стену... Были дни, когда превыше всего хотелось убить время, сделать что угодно, не щадя ни себя, ни других, лишь бы только ускорить его бег...

Об этих скорбных днях не хочется и вспоминать. И не стоят они воспоминаний, и с гордостью можно сказать — не так уж много их было.

Куда больше было других, наполненных осмысленной заботой о том, чтобы не стать на колени, вымаливая крохи режимных послаблений, чтобы не позволить унизить себя ни в чем, даже в самой малости, чтобы суметь сохранить душевную бодрость и физическое здоровье,— сохранить себя для грядущей революции.

Ему многого удалось добиться.

Когда позже в Олекминской ссылке рассказывал о том, как, сидя в «Крестах» в одиночке, почти два года выписывал и получал ежедневную газету, товарищи недоумевали, не умея сразу сообразить, в чем соль шутки?

А он вовсе не шутил. Действительно, в начале второго года своей отсидки он выписал ежедневную газету и получал ее до конца своего пребывания в тюрьме.

Случай, вероятно, беспрецедентный, в корне несообразный с тюремными порядками. Чтобы заключенному ежедневно вместе с завтраком приносили в камеру свежую газету?!.

По правилам тюремного режима чтение газет категорически воспрещалось. Не дозволялось читать даже старые, многолетней давности журналы. Не раз приходилось ему видеть, как надзиратель тщательно собирает и уносит все до единого обрывки газеты, в которую была завернута передача.

Но как-то, разговорив одного из надзирателей, который приносил ему бумагу и чернила, он узнал от него, что несколько лет назад одному из заключенных разрешено было получать официальное издание министерства финансов — «Вестник финансов, промышленности и торговли». Как ему удалось добиться такого разрешения, надзиратель в точности не знал,— кажется, тот заключенный подавал специальное прошение,— но что был такой случай, помнил точно.

Он сразу отнесся с живейшим интересом к сообщению надзирателя. Рядом наводящих вопросов пытался выяснить, каким образом удалось добиться такого послабления тому заключенному. И когда надзиратель ушел, весь вечер даже не притронулся пером к бумаге (хотя и занят был тогда очень для себя интересным делом — составлял словарь к сочинениям любимого своего писателя Щедрина), а все размышлял, как же это удалось тому неизвестному?

Не так уж ему нужен был этот «Вестник финансов, промышленности и торговли», хотя для человека, полностью оторванного от мира, даже такое сухое и специфическое издание могло представлять интерес. Но тут он вспомнил, что министерство финансов издает еще ежедневную «Торгово-промышленную газету» (эту газету он читал, когда служил в статистическом отделе губернской

земской управы), и что газета эта числится официально приложением к «Вестнику».

Таким образом оказалось, что «Вестник» — не только министерский справочник и сборник министерских циркуляров, но еще и ежедневная газета. Теперь уже имело смысл бороться за возможность выписывать его.

Целый вечер сочинял прошение на имя начальника главного тюремного управления. Писал о необходимости иметь «Вестник» для продолжения научных занятий, начатых им еще в бытность на службе в статистическом отделе. Сослался также на усердную и безупречную службу в губернской земской управе, за каковую был неоднократно представляем к поощрению начальством (все это соответствовало действительности: свои обязанности статистика он выполнял вполне добросовестно, и непосредственный начальник его, Лев Карлович Чермак, по вполне понятным соображениям, не скупился на поощрения), и, наконец, соблюдая весь необходимый в таком тонком деле такт, помянул об имевшем место прецеденте.

Прошение было передано по команде. Ожидал результата с естественным волнением, хотя и без особой надежды. И сам был удивлен больше всех, получив в скором времени положительный ответ.

Пожелало ли высокое начальство поощрить стремление арестанта к научным занятиям, уважило ли его безупречную службу в земском ведомстве, повлияла ли ссылка на прецедент, или просто прошение легло на стол начальника в минуту, когда суровая душа его была смягчена очередною наградой или повышением в чине,— какова бы ни была причина, важен был результат. Главное тюремное управление официально разрешило находящемуся в заключении Михаилу Степанову Александрову получать журнал «со всеми приложениями».

Теперь надо было ковать железо пока горячо. Пока никто из местного тюремного начальства не разобрался,

что кроется за словами «со всеми приложениями». Чтобы не получилось, как в сказке: «царь жалует, да псарь не жалует».

Не медля ни часу, написал прошение начальнику тюрьмы, в котором, ссылаясь на разрешение главного тюремного управления, просил выписать за его счет «Вестник финансов, промышленности и торговли» «со всеми приложениями». Причем пошел на маленькую хитрость: указал стоимость журнала вместе с газетой, о ней, конечно, не упоминая. Никому в тюремной конторе не пришло в голову проверить его расчеты. Подписка была оформлена на указанную им сумму, и, когда поступила газета, тюремное начальство обнаружило, что само выписало заключенному Александрову ежедневную «Торгово-промышленную газету».

Идти на попятную не позволила «честь мундира», и в течение двух лет каждый день в его камеру подавалась служителем свежая газета.

Журнал и газета не только скрасили тяготы одиночного заключения. Изучая таблицы и статистические сводки, он за эти два года основательно ознакомился с экономическим положением страны, убедился в том, что все большую роль приобретает фабрично-заводская промышленность, что неудержимо растет количество новых промышленных предприятий, а с ними и число рабочих на фабриках, заводах, железных дорогах. С каждым днем крепла давно уже зародившаяся мысль, что именно рабочему классу суждено стать главной силой в грядущей революции. Мысль эта зародилась еще в тот год, когда он вел занятия в первом порученном ему рабочем кружке. Уже тогда приметил он особое, отличающее рабочих чувство товарищеской солидарности, чувство локтя. Это чувство товарищества отличало не только первых его слушателей. То же самое наблюдал он и в других рабочих кружках, в которых довелось ему вести занятия.

Укрепилась эта мысль после того, как побывал на ткацкой мануфактуре Воронина. Присутствуя на собрании стачечников и принимая в нем деятельное участие, он понял, какую силу представляет собою организованная рабочая масса. Правда, в тот раз, стачка была сломлена. Но это лишь потому, что красильщики Воронинской мануфактуры остались в одиночестве. Ткачи их не поддержали. А если бы поддержали, то хозяину пришлось бы уступить и рабочие одержали бы победу. А если бы забастовали не только воронинские ткачи, а рабочие всех фабрик и заводов Петербурга? Рабочие всех фабрик и заводов страны? Такие мысли бродили в нем после посещения Воронинской мануфактуры. А теперь, ознакомившись с фактами, подтверждающими стремительный рост российского рабочего класса, он, конечно, должен был в этих мыслях утвердиться.

Кроме ценнейших экономических сведений из казенной ведомственной газеты можно было выцедить — порою вычитать между строк — какие-то крохи даже и политической информации. И не быть уже, как прежде, полностью отстраненным от всего того, что совершается в большом мире за глухими стенами камеры. Наконец, еще раз подтвердилось, что и здесь можно бороться и даже побеждать. Конечно же, вся эта журнально-газетная история была еще одной, на сей раз уже более значительной его победой.

А случалось и так, что бороться надо было с самим собою и побеждать самого себя.

Первое такое противоборство произошло в ослепительные весенние дни в конце апреля или в начале мая.

Здесь в «Крестах» приход весны ощущался гораздо явственнее, нежели в вонючих камерах Петропавловской крепости или Дома предварительного заключения. Уже с середины апреля стали открывать окна. С Невы тянуло свежестью.

Тюремная ограда несколько заслоняет реку, но не всю, значительная часть русла видна, ощущается и «Невы державное теченье», и видно, как с каждым днем нарастает оживление на реке. Пароходы, которые идут вверх по реке, на Ладогу, тянутся у самого «нашего» берега, и видны лишь их закопченные трубы, зато хорошо слышно надсадное, учащенное дыхание машин, особенно, когда на буксире изрядный караван барок.

Стремительно проносятся по стержню идущие вниз пароходы, проворно снуют туда-сюда лодки возле противоположного берега. Приходят и уходят люди... Совсем неподалеку, совсем рядом иная, деятельная, воистину живая жизнь. Неподалеку, а на самом деле так далеко...

Последние недели много читал, особенно Лермонтова. Понял то, на что раньше не обращал внимания. Его поэзия — по преимуществу поэзия отверженного, вопль беглеца и стон узника. А горечь и злость его стихов — эти чувства так хорошо знакомы арестанту, так близки его душе! Читал жадно, спешил заучить как можно больше стихотворений, чтобы повторять их про себя вполголоса за нудной работой, склеивая опостылевшие, рябившие в глазах папиросные коробки.

Никогда не предполагал, что труд, физически вовсе не тяжелый, может так изнурять своей унылой монотонностью. Несколько недель клеил коробки для папирос «Заря».

Когда стало невмоготу, спросил мастера, приносившего материал и забиравшего коробки:

— Неужели только одна эта работа есть?

— Нет, почему же,— сказал мастер,— есть еще «Ландыш», «Курьерские». Надоест «Заря», клейте «Ландыш» или принимайтесь за «Курьерские».

Вспомнилось, как опасался, что один вид папиросных коробок заставит еще сильнее томиться от невозможности

закурить. Но оказалось, что опостылевшие коробки уже и не ассоциировались с ароматным дымком папиросы, с бодрящей затяжкой. А если уж покурить, то хорошо бы самой ядреной махорки... Странно, «в миру» курил почти всегда папиросы, кстати, очень часто эту вот самую «Зарю». И никогда в голову не приходило, что клеил эти коробки такой же проштрафившийся интеллигент...

Всю зиму торопил приход весны, зная, что весна распахнет окно, а вот теперь, когда его отворили, еще труднее стало приневоливать себя. А горькие и мятежные стихи еще сильнее будоражили душу. После них вовсе невмоготу в этом каменном мешке! Уйти, уйти из этой тесной камеры на светлый простор, на веселый берег реки, пройтись по лесу и полю, вдохнуть всей грудью этого пьянящего сочного воздуха.

Уйти, уйти! Как уйти? Вывести отсюда может лишь шапка-невидимка. Будь она под рукой, как бы просто! И дальше уже самая строгая и потому самая достоверная и убедительная реальность пришвартовывается к фантастической мечте и своими реалистическими подробностями как бы превращает мечту в действительность... С пристани возят на тюремный двор каменный уголь, ворота настежь с утра до вечера. Свернул бы с опостылевшего прогулочного круга внутри тюремных стен и пошел бы вдоль Невы, и дальше, и дальше, куда глаза глядят...

Как радостно душе хоть на минуту отвлечься от суровой действительности и воспарить в мечтах.

Но мечта — химера, а действительность — вот она, вот они проклятые стопы папиросных коробок, проклятые стены одиночки, проклятая дубовая дверь с бесстыдным глазком посредине! Скорее, скорее от этой нудной действительности в просторную и светлую область мечты. Но мечта неудержима. И вот уже шапка-невидимка не только на твоей голове, но и на головах твоих товарищей, и все вместе — на воле, на привольных лесных тропах, в

дружеской беседе за братским застольем у ночного костра на лесной поляне.

А от этого привольного костра вернуться в камеру еще тягостнее. И в следующий раз ты бежишь уже не только со своими товарищами, а все униженные и оскорбленные выходят на волю, сметают угнетателей — и на земле воцаряется эра всеобщего благополучия.

Цикл мечтаний завершен. Отрезвление безмерно тягостно. Свинцовая действительность стократ сильнее гнетет взбудораженные нервы.

Именно в таком вот ужасном, одновременно и возбужденном и подавленном, состоянии находился он в то время, когда тюрьма с нетерпением ожидала пятнадцатого мая — дня коронации. В этот день по установившейся традиции предстояла амнистия. Всем, и ему тоже, предложено было подать прошение.

Казалось бы, что зазорного в желании сократить срок своего тюремного заключения? И, стало быть, можно ли счесть предосудительной подачу прошения? Но сколь бы сильно ни было желание вырваться раньше на волю — даже понимая под волею тайгу или тундру Восточной Сибири,— трезвый разум предостерег: не будь легковерен, опасайся царской милости, не поддавайся малодушию, прошение это очень нужно им, департаменту полиции и иным предержащим властям, нужно для того, чтобы отделить козлищ от овец, чтобы отсеять раскаявшихся и смирившихся от нераскаянных и убежденных.

Конечно, он поступил достойно, отказавшись подать прошение об амнистии; хотя — как вскоре выяснилось, к великому его огорчению, многие из близких ему людей так и не смогли понять, почему он отказался от возможности сократить тюремный срок из-за пустой, как им казалось, формальности. Но для него это была еще одна победа, притом особо трудная, одержанная над самим собой.

Потом ему сказали: больше всего разгневало начальника тюрьмы то обстоятельство, что флоксы, выставленные в окне,— красного цвета. Не было смысла спорить, но уж если быть точным, то один куст был густо розовый, другой — малиновый, но для специфически устроенного полицейского глаза все эти цвета сводились к одному — крамольному...

Обычно говорят: «бог свидетель и добрые люди», но в этом случае общеупотребительная формула не подходила. Добрых людей при сем не было. Так что оставался в свидетелях один бог. И он — спроси его тюремное начальство — конечно бы подтвердил, что никакого умысла вывести флоксы или астры недозволенного цвета и в мыслях не было у политического заключенного Михаила Степанова Александрова. Только у тюремного начальства с господом богом прямого контакта, видать, не было, и вопрос остался до конца не проясненным.

А началась вся эта «цветочная» история с сущего пустяка. Пришла на очередное свидание определенная ему в «тюремные невесты» славная девушка Васса Михайловна Можаровская и принесла, в числе прочего, довольно редкое лакомство — баночку сардин. Дежурный офицер не разрешил такую передачу. Но Васса Михайловна так умоляюще уставилась на него своими огромными синими глазами, что служивое сердце дрогнуло. Дежурный офицер сам вскрыл баночку, удостоверился, что содержимое соответствует маркировке, после чего передал сардины в руки заключенному.

Полакомившись сардинами, баночку он не выбросил, а вымыл и поместил на полку с прочей табельной посудой: миской, тарелкой и кружкой. Это было уже на втором году заключения, и надзиратель не стал придираться к столь незначительному нарушению тюремного распорядка.

Вскоре баночке нашлось применение: на вечерней про-

гулке, улучив минуту, когда надзиратель отвлечен был ссорою, возникшей между двумя арестантами, нагнулся, вроде бы поправить сбившийся при ходьбе носок и черешком ложки выхватил облюбованный заранее кустик травы, с корнями и комом земли. Ухитрился пронести в камеру и посадил кустик в жестяной баночке.

Зеленый кустик на подоконнике не остался незамеченным.

— Не дозволено,— сказал надзиратель, осматривавший утром камеру.

— Но и прямого запрета ведь тоже нет,— возразил он довольно непринужденно.

С этим именно надзирателем давно уже установились добрые отношения. Служивый, случалось, и книгу брал у него почитать на ночном дежурстве и даже иногда рассказывал кое-что о событиях, происходящих в городе.

— Ну ладно,— согласился надзиратель,— в случае чего, скажу — не заметил...

Надзирателю не пришлось оправдываться. Стихийно возникшее садоводство в камере вскоре было легализовано самим тюремным начальством.

В первый день пасхи вызвали в канцелярию. Облаченный в новенький, с иголочки, мундир и благоухающий, как куст жасмина, дежурный помощник начальника тюрьмы произнес несколько даже напыщенную речь:

— Вот вам принесли провизию и гиацинт. Провизию вам передадут, а цветок я не имел права пропустить и обратился к господину начальнику, который приказал вам объяснить, что цветов вообще не полагается приносить в тюрьмы... но, стараясь не делать никаких стеснений арестантам, он в этот единственный раз, в виде исключения по случаю праздника разрешает пропустить цветок.

Цветку он до того обрадовался, что даже сдержанная Васса Михайловна разволяовалась, глядя на него.

Теперь у него в коробке от сардинок луг, в цветочном горшке — сад.

А дальше все пошло, как говорится, по нормальной схеме. Им овладела неуемная жажда к расширению площади землепользования. Семенами он был обеспечен в избытке. Его увлечение комнатным, точнее, камерным цветоводством стало известно всем, с кем поддерживал он переписку, и ему всеми возможными путями посылали в тюрьму семена наиболее жизнестойких цветов. Как потом выяснилось, в суровых тюремных условиях успешнее всего акклиматизировались флоксы и астры.

Одного поля — горшка, полученного вместе с гиацинтом — явно не хватало для реализации обширных замыслов, обеспеченных к тому же семенными фондами. Второе поле изготовлено было из фаянсовой питьевой кружки, в которой за три вечера удалось пробуравить дно. Чтобы обзавестись третьим полем, пришлось скрепя сердце отказаться от успешно освоенного возделывания луговых трав.

Прошло определенное природой время, и расцвели цветы. Очень они скрасили ему томительно влачащиеся тюремные дни...

Когда садился за работу, всегда ставил цветы на край стола перед собою, перед тем как выходить на прогулку, ставил на подоконник так, чтобы их видно было со двора.

Очень ярки и веселы были астры и особенно пучки флоксов, когда солнце смотрело в окно! Если могут быть у заключенного в тюрьме счастливые минуты и если они были у него, то это именно те минуты. Он сохранил о них теплую память. Но когда, уже в Олекминске, рассказал одному из товарищей, человеку очень достойному, которого до того очень уважал и ставил себе в пример, про свои тюремные цветы и про эти радостные минуты, тот посмотрел на него с плохо скрытым презрением и разразился почти гневною тирадой:

— Почувствовал себя счастливым? Не рано ли? А что в мире изменилось от того, что ты поставил на тюремное окно два горшка и консервную банку? Меньше стало голодных и обездоленных? Смягчились сердца палачей? Державный жандарм Романов приказал раскрыть настежь двери тюрем? Наступило царство божие на земле?

Он ничего не возразил тогда этому партийному праведнику. Да и надо ли было возражать? Ведь праведники тем и отличаются от обычных людей, что вместо обычных слов изрекают неопровержимые истины.

Да, конечно, эти цветы никому ничем не помогли. Никому! Кроме одного человека, того, который вырастил их в своей камере... И очутись он снова в тех же условиях, снова стал бы мечтать о цветах, а стало быть, и стараться вырастить хотя бы один.

Он ухаживал за своими цветами, лелеял их,— не каждая мать лелеет так свое дитя. Цветов стало так много, что он мог даже позволить себе дарить их (поистине царский в его условиях подарок!). Сестра Людмила пришла к нему в первый раз, и он подарил ей чудесный флокс. Она очень удивилась, принимая цветок из рук дежурного офицера, и не сразу даже поняла, откуда он взялся, а когда поняла, то не сразу поверила, что этот цветок выращен здесь им самим.

Потом несколько раз он дарил цветы своей «тюремной невесте» Вассе Михайловне. А потом случилось, что Васса Михайловна заболела и вместо нее прислали в тюрьму на свидание подменную «невесту» — девицу молодую, в тюремных порядках мало сведущую и, на его беду, излишне строптивую.

Он-то совсем не знал, что придет не Васса Михайловна, а ее заместительница. Если бы знал, может быть, не стал срывать цветок, а может быть, наоборот, сорвал бы самый красивый, чтобы первое посещение тюрьмы показалось его «невесте» менее удручающим.

В общем, он сорвал цветок и понес его в камеру свиданий и, конечно, даже и предположить не мог, какая мелодраматическая сцена сейчас разыграется и как печально для него все это закончится.

А произошло вот что.

Дежурный офицер, как обычно, взял у него цветок, тщательно осмотрел его и вручил удивленной девице. При этом позволил себе какой-то, возможно и не вполне уместный, комплимент. Девица, совершенно искренне считавшая, что, согласившись добровольно войти за ворота царской тюрьмы, уже одним этим совершила геройский подвиг, была оскорблена до глубины души фамильярностью царского прислужника. И вместо того, чтобы с пустою улыбкой бросить офицеру «мерси», закатила ему такую «сцену у фонтана», что он, так же оскорбясь за честь мундира, поднял брошенный девицею цветок и побежал с жалобой к самому начальнику тюрьмы.

Начальник, узнав о разведенном в тюремной камере цветоводстве, пришел сперва в изумление, а затем впал в ярость.

— Красные цветочки на окнах! Ботанический сад развели! Безобразие! — кричал он на своего помощника.— Скоро зверинец разведете!

И сколь ни пытались ему доказать, что первый цветок занесен в камеру по личному его дозволению, начальник не пожелал выслушивать никаких резонов, круто оборвал всех осмелившихся возражать и приказал:

— Прекратить безобразие!

Когда начальник тюрьмы ушел, помощник решился высказать свою точку зрения:

— Зачем запрещать цветоводство? Что может быть невиннее этого занятия?

Довольно лестно было узнать, что нарушено монолитное единомыслие тюремного начальства...

Подумал даже с невеселым юмором: «Это за неполных

два года. А что, если посидеть тут лет десять или уж все двадцать?..»

Но на следующий день было уже не до юмора. Пришел старший надзиратель и, отводя в сторону глаза, сказал хмуро, что цветы придется отобрать.

— Уносите! — сказал он и отвернулся.

Несколько дней боялся смотреть на пустой подоконник. Потом притерпелся. Но очень долго не мог прийти в себя. Много раз ловил себя на глупейшем занятии: вычислял с точностью до третьего десятичного знака, какова доля оставшегося ему тюремного срока по сравнению с длительностью всего срока заключения. Поначалу даже рассердился на себя: что за детские забавы! Потом сам же себя урезонил. Ведь известно из тюремного фольклора, что издревле всякий ввергнутый в тюрьму или яму пытался как мог вести счет дням, чтобы знать, сколько ему еще муки осталось. Ему нет надобности вести счет дням; в наш цивилизованный век есть календари, а иным — таким, как он, удачливым — даже и газету в камеру доставляют. Число в число. Отчего же не подсчитать: какая доля срока минула, какая еще осталась? Гимнастика ума, только и всего.

Врезалось в память: в тот день, когда столь неожиданно пришли за ним, вычислилось, что оставшийся срок составляет двести пятьдесят четыре тысячных доли от всего определенного ему срока. Иначе сказать, предстояло сидеть в «Крестах» в три раза меньше, чем уже отсидел. Тут же высчитал, что осталось девять месяцев и пять дней, или, если не считать сегодняшнего дня, ровно сорок недель, или, уж совершенно точно, двести восемьдесят один день. Но самое, конечно, важное, что прошло три четверти срока. Его математические размышления прервал несколько запыхавшийся надзиратель:

— Приказано немедленно в канцелярию. И возьмите пальто. Поедете в сыскное.

Словно обухом по голове ударили. Наверно, они там тоже подсчитали, что осталась всего четверть срока. Что пора новое дело заводить. Только почему же вызывают в сыскное, а не в жандармское?

В канцелярии все разъяснилось — вызывают не на допрос, а для снятия фотографической карточки. Сразу отлегло от души. И уже с усмешкой подумал: все же в одном оказался совершенно прав. И они тоже подсчитывают, сколько кому осталось. И загодя готовят казенные документы, готовясь отправить в дальнюю дорогу.

Первый раз за два с лишним года предстояло выйти за тюремную стену. Ну как тут не поблагодарить радетелей из сыскного отделения за их служебное рвение. Вполне могли ведь заняться изготовлением документов на последней неделе срока. Или сфотографировать в камере, на дворе, не выводя за тюремные ворота.

Та же тюремная карета с надписью крупными белыми буквами на черных боках: «Петербургская одиночная тюрьма» и с маленьким зарешеченным оконцем на задней двери. Сразу же кинулся к оконцу.

Но как оглушительно дребезжит эта проклятая колымага! Та, в которой привезли его в «Кресты», так не дребезжала. А может быть, нарочно подбирают такие... Потом сообразил, что не в колымаге дело,— два года тюремного безмолвия болезненно обострили слух. И везли его по другой дороге? Конечно, по другой,— была зима, везли прямо по льду через Неву, а теперь — по мосту... Проехали мост, пошли знакомые улицы, знакомые дома... Всматривался с жадностью в дома и особенно в прохожих.

На тюремную карету почти все оглядывались. Отвечал твердым взглядом, не отводя глаз в сторону, хотя не поймал ни одного доброго взора. Вряд ли кто из разглядывавших посочувствовал ему. Скорее всего думали: «Проворовался малый — поделом ему!» А может быть, думали

и еще похуже... Какое уж тут сочувствие? На набережной коротенький и брюхатенький родитель, слегка привалившись на бок, осторожно вел за руку крохотное чадо. Впору умилиться, если бы не разглядел блестящие пуговицы на форменной шинели родителя. Потом обогнали сытого господина с бобровым воротником; потом поспешавшего куда-то дворника, в холщовом фартуке поверх полукафтана; потом двух купцов, о чем-то степенно рассуждавших.

Нет, от этих не дождешься доброго взгляда...

По набережной Екатерининского канала пересекли Невский. Заметил, что многие дома окрашены ярко, нарядно. Вкруг Казанского собора уложены деревянные мостки — чтобы почтенное купечество и чиновная братия не промочили ног, явившись на заутреню... Обратил внимание на броскую вывеску казенной винной лавки. Отеческая забота родимого царя-батюшки о верноподданном народе и своем кармане.

Очень утомился от назойливого дребезжания кареты, от пестроты зрительных впечатлений. Хотел было пересесть подальше от оконца, но остановила мысль: «Смотри! И слушай! Впереди еще сорок недель тюремной тишины».

У Львиного мостика путешествие закончилось; карета свернула направо и въехала во двор. Позабавило, с какими почестями доставили его в помещение. Один конвоир шел впереди, второй вплотную сзади, почти касаясь его спины. Оба были настороже, словно опасались, как бы он, оборотясь птицей, не вспорхнул между ними. Как видно, им сказано было, что повезут опасного преступника. Конечно, понимал, что не следует особенно заноситься. Конвоиры тупы и к службе равнодушны. Чтобы не развешивали ушей, им о каждом говорят, что опасный... И все же везут в закрытой карете с двумя солдатами; держат в отдельной камере. Значит, основательно им навредил, не безделицей. Значит, недаром жил на свете...

В сыскном долго не задержали. Тут свое дело знали. Вылощенный полицейский чин, все время смотревший куда-то мимо, провел из дежурной комнаты в фотографию. Фотограф быстро сделал два снимка: анфас и в профиль. И после определенных распорядком формальностей бдительные стражи снова отвели его в карету.

Обратно ехали по Большой Казанской. Другие дома, но совершенно такие же прохожие, совершенно такие же взгляды. Только на одном углу приметил четырех очень бедно одетых мальчишек. Вот к этим бы вышел, перемолвился с ними словом, если бы решились они говорить с ним... Зато, пересекая Невский, преградили путь роскошному ландо с разряженными дамами и господами,— и вот тут уж обменялись взглядами.

И только человек особо проницательный, наблюдавший этот безмолвный поединок со стороны,— если бы такой сыскался поблизости, смог бы определить, в чьем взгляде было больше презрения.

Многие годы прошли с того дня, но до сих пор он хорошо и отчетливо помнит, с каким ощущением своего безусловного нравственного превосходства, с каким пониманием значительности своей жизни по сравнению с пошлой жизнью этих сытых и разряженных посмотрел он им вслед. И если бы нашелся кто, имеющий необходимую для того власть и способ, и предложил ему сейчас же, не размышляя, не медля ни минуты, перейти из одной кареты в другую, с тем чтобы ехать в той, другой, до конца жизни, то он, при всей его мягкости и личной незлобивости, ударил бы его и еще плюнул ему в лицо...

После этой встречи, этих размышлений, глядя на свободно идущих по улицам людей, не испытывал уже ни горечи, ни зависти, ни даже желания покинуть немедленно эту напоминающую собачий ящик карету и слиться с шумной толпой. Нет, у него своя жизнь, своя дорога, и он не променяет ее ни на какую другую.

Вернулся он тогда в камеру совершенно спокойный. Таким редко бывал в тюрьме. Вот сейчас бы сесть за письма к родным. Смог бы написать так, чтобы и их порадовать своею бодростью. А то иной раз принесут бумагу: «Пишите!», а на душе такая мрачная осень, что совсем не хочется ее на страницы выплескивать. Переписка, то есть возможность писать из тюрьмы и получать письма в тюрьме, конечно, великое благо для заключенного, но и великая мука...

Разве когда-нибудь забудется, как страшился написать матери после ареста? Две недели не мог принудить себя и лишь пятого мая написал ей несколько строк, которые и сейчас помнит наизусть:

«Дорогая мамаша! Должен, к сожалению, известить тебя, что со мной случилась маленькая неприятность: 21 апреля меня с женой арестовали. Я не сообщил тебе об этом тогда же, потому что пользы от этого все равно никакой не было бы, а только ты потеряла бы две лишние недели спокойствия...» И еще писал он в этом письме, что «эти две недели прошли совершенно незаметно» и что его здоровье «во всех отношениях безукоризненно».

Это при его-то чистосердечности так лукавить!

Не всегда удавалось обуздать свои чувства и быть в письмах достаточно сдержанным и ровным.

Старшему брату Николаю по поводу его умиротворяющего совета не озлобляться, не роптать на судьбу и терпеть ответил, не тая досады и раздражения:

«Я, как ты знаешь, русский человек и потому чем другим, а недостатком этой ослиной добродетели не страдаю. Но твои советы «терпеть» каждый раз поднимают во мне желчь и раздражение против всего и всех, кто и что ставит меня в положение, вызывающее необходимость «терпеть»...»

Нехорошо было срывать зло на Николае. Он сочувствовал ему и как мог старался облегчить его участь.

Обремененный собственной семьей, содержавший мать, после смерти Степана Николаевича переехавшую к старшему сыну, он отрывал от своего скромного жалования заметную долю и посылал ему в «Кресты». Посылал он деньги и сестре Людмиле, арестованной в то же время.

Не хватало духу возвращать деньги Николаю, хотя после того, как пришли первые деньги, сразу же написал ему, что ни в чем не нуждается. Но Николай снова прислал. Тогда не стал отказываться, получал их и тут же передавал Вассе Михайловне для «Общества помощи политическим ссыльным и заключенным».

В тот день, когда разорили его цветник, он тоже позаботился о том, чтобы дежурный офицер передал девице, так неудачно навестившей его, очередную свою «получку» в размере двадцати рублей. Неопытная девица и тут ничего не поняла, начала махать руками и едва не сорвала всю операцию. С большим трудом удалось дать ей понять — объясняться приходилось иносказательно,— что́ это за деньги, для чего предназначены и кому их следует отдать...

Очень бы хотелось сейчас, именно сейчас, в минуты ясной душевной бодрости, написать Кате. Своими письмами к ней он всегда оставался недоволен. Правда, она очень редко писала ему. Она никогда не любила (сама она говорила «не терплю») писать писем. И старательно им подавляемый, но все же не заглушенный до конца привкус обиды накладывал свой отпечаток на его письма к ней. И, сколь он ни старался, не получались они такими чистосердечными, ясными, не замутненными обидой, как ему хотелось.

Вот сейчас он бы смог написать такое ясное и душевное письмо... он совершенно уверен, что смог бы... хотя от нее снова уже давно нет писем.

Даже подумалось — может ведь прийти в голову и такая благоглупость,— что меньше бы беспокоился о ней,

если бы не ссылку отбывала, а, как и он, находилась в тюрьме. Что может грозить заключенному, особенно в одиночке? Разве только сойдет с ума. Только!.. А в ссылке, в далеком таежном углу, сколько неведомых и оттого еще более грозных опасностей подстерегают молодую беззащитную женщину...

Успокаивал себя тем, что не одна она там. На север Вологодской губернии тем же «административным решением» сослано свыше двух десятков человек по одному с нею делу. Так что товарищи рядом. Да и к самой Кате, с ее кипучей энергией, как-то не подходит эпитет «беззащитная».

Не надо зря тревожить себя, не надо без достаточной причины бередить душу, и не надо накликать беду, наконец! Осталось всего сорок недель, и будут они с Катей пусть и далеко отсюда, но вместе — об этом они уже давно условились в письмах.

Нет, сегодня решительно ничто не может омрачить его в общем-то беспричинно бодрого настроения. Если бы еще можно было присовокупить к этому бодрому настроению соответственно добротный обед (что́ бы расщедриться начальству в честь предстоящего праздника святой пасхи!).

Он никогда не был подвержен смертному греху чревоугодия, но можно же, хотя бы раз в два года, помечтать о нормальной человеческой пище?

К сожалению, тюремное меню не учитывает ни вкусов, ни аппетита, ни тем более каждодневного душевного состояния заключенного.

Пришлось накормить себя самому. Накормить вкусными (и бодрыми) стихами:

На тарелке красной меди
Булка свежая лежит.
К ежедневной этой снеди
Потерял я аппетит.

Я б кусок свиного мяса
Иль полфунта ветчины
Съел теперь, не побоялся,
Что с трихинами они.

Миску б рыбы съел вареной,
Блюдо масляных блинов,
Огурец, арбуз соленый
И с сметаною грибов.

Скоро праздник, и не втуне
Жду с уверенностью я:
Мне приснится накануне
Разом целая свинья.

Насытиться, конечно, не насытился, но аппетит несколько сбил, так сказать, разбавил сочиненными эмоциями. Велика сила искусства!

Не прошло еще и двух недель после поездки в сыскное — снова вызвали в канцелярию. На сей раз про пальто ни слова, явиться — и все. Шел и терялся в догадках: для чего еще понадобился начальству? Доброго не ждал.

Вот и знакомый широкий стол с испачканным чернилами зеленым сукном. Дежурный помощник почему-то встает навстречу. Лицо торжественное и оттого глупое:

— Сейчас сообщу вам радостную весть. Ждете чего-то приятного?

Полная растерянность. Пробормотал первое из того, что пришло в голову:

— Журналы... разрешены?

— Лучше! Вот бумага, прочтите.

И подает ему сложенный вдвое лист, с такой величавой и вместе с тем покровительственной миной, как если бы лично он был творцом этой бумаги.

Бумага из департамента полиции: согласно прошению административно-заключенного Михаила Степанова Александрова его жене, административно-ссыльной Ека-

терине Михайловой Александровой, отбывающей ссылку в пределах Вологодской губернии, разрешена отлучка в Петербург на неделю.

Поднял глаза на помощника. Где она?

— Вам дано два свидания. Свидания личные, каждое по полтора часа.

Три часа за три года. Не так много. Но пусть, пусть три часа! Где же она?

— Это копия-с.— Несколько невразумительно объясняет дежурный помощник.

Даже полицейскому чину, чего только не навидавшемуся за годы службы, трудно смотреть в его обожженные надеждой глаза.

— Это копия-с, а подлинное отправлено в Вологду, господину начальнику губернии. Господин начальник губернии известит господина исправника, в коем уезде состоит под надзором полиции ваша жена. А господин исправник ее известит. Возможно, уже известил.

Вологда... исправник... возможно.

Понял одно: сейчас можно идти в камеру.

Какими же ненавистными стали ее стены. Впору броситься на них. Но нет сил даже лишнего шагу ступить. И боль, пронзительная боль, словно чем-то острым ткнули в обнаженное, раскрытое сердце.

Когда же увидимся? Тысяча верст и... три часа. Стоят ли три часа тысячи верст? Не слишком ли эгоистично требовать от нее...

И готов уже был повиниться перед ней за то, что, не спросясь ее, подал свое прошение.

Бред! Нелепый бред усталого, глупого и трусливого человека! Да она с радостью проедет десять тысяч верст, чтобы хоть на день выбраться на людные улицы Петербурга, увидеть знакомых и друзей! И его!

Может быть, в эту же именно минуту, когда он готов был оклеветать ее,— да что там готов, уже оклеветал! —

к ней пришли и принесли эту же бумагу, ну пусть не бумагу, пусть просто пришли и сказали, что ей разрешена отлучка,— она же рада и благодарит его от всей души.

А когда представил, как изумится, да что там изумится, как обалдеет исправник — в такие медвежьи углы всегда назначают самых тупоголовых — получив распоряжение департамента полиции отпустить в Петербург административно-ссыльную Екатерину Михайлову Александрову, то, забыв все свои страхи, боли, обиды и подозрения, расхохотался, как хохочут только на свободе.

Нет, подумать только, два с лишним года стерег, как цепной пес, глаз не спускал, в лес за грибами без спросу не дозволял, а тут на целую неделю,— да куда? — в Петербург! Да что же это такое!

А как обрадуются товарищи! Сколько поручений надают. Почти у каждого сыщутся друзья и родные, надо их навестить, подбодрить, успокоить. От всех поручений для него-то и останется дай бог три часа... Все точно рассчитали полицейские мудрецы-сердцеведы.

Три часа... Всего три часа. Зато близко, рядом. Личное свидание, значит, даже без решетки. Узнает ли она его? Два года прошло, нет, больше чем два года. Тюрьма, говорят, не красит.

Устремился к окну. Оно, по счастью, открывается внутрь. Книгу в темном переплете к стене за стекло — вот и зеркало. Лицо знакомое, только в бороде прибавилось седых нитей. Но чьи это глаза? Не было таких глаз, затравленных, изверившихся, усталых.

Все равно узнает. Узнает и поймет.

Дни и ночи, прошедшие между встревожившим днем, когда известили о разрешении на свидание с Катей, и осчастливившим днем, когда оно наконец состоялось, остались в памяти, как сплошные, не поделенные на минуты, часы и сутки предрассветные темно-серые сумерки. Сод-



ним-единственным свойством: тянуться до рассвета, который должен быть, должен наступить рано или поздно. Но что такое рано или поздно, когда не было ни суток, ни часов, ни минут?

Были сумерки, и было ожидание рассвета. И было обещано, что он наступит.

А Катя совсем не изменилась.

Потом только, когда сидели в канцелярии, рядом на широком диване, обтянутом изрядно вытертой кожей, разглядел, что у нее потянулись от висков серебряные нити и морщинок возле глаз стало больше. Но это если очень приглядываться. А в остальном, в главном, совсем не изменилась. Все такая же стремительная и порывистая.

Он увидел ее, еще когда она стояла у наружного выхода, отделенная от него решеткой.

Ее долго не пропускали — никак не могли найти разрешительную бумагу из департамента полиции. Ему тут же представилось, что нарочно затеряли, чтобы оттянуть или вовсе отменить свидание, и он готов был с кулаками броситься на всех этих бездушных людей...

Катя энергично поторапливала растерянных полицейских служак. Когда бумагу наконец отыскали и открыли проход в зарешеченной стене, Катя ринулась в канцелярию, едва не сбив с ног замешкавшегося на пути надзирателя.

Первый отрывистый поцелуй среди толпы полицейских — что-то их много оказалось в канцелярии: личные свидания большая редкость, оттого и любопытство. Потом дежурный помощник всех выдворил и сам вышел, предупредив еще раз, что в их распоряжении час тридцать минут.

И они остались одни в канцелярии, если не считать

старенького чиновника, сидевшего в углу за своим столом и погруженного в свои дела. Он не обращал на них — они это сразу заметили — совершенно никакого внимания и даже несколько раз отлучался из комнаты.

Как-то сразу, даже и словом не обмолвясь для разъяснения, и он и она поняли и примирились с тем, что это не настоящее свидание — оно у них впереди, а просто они разыгрывают сцену свидания.

И сразу повели себя не как злою волей разлученные на годы близкие люди, а как добрые знакомые, встречающиеся едва ли не каждый день, и вот снова по какому-то совпадению оказавшиеся вместе в этой комнате. Оказалось, так куда легче.

Катя рассказывала, как изумилась и переполошилась вся ссыльная братия, как ошарашен был всегда невозмутимый исправник — тут он перебил ее и рассказал, как он хохотал в камере, представив себе остолбеневшего хозяина уезда,— как ее собирали в дорогу.

И очень смешно рассказала про шляпки. Когда по городку разнеслось, что она едет в Петербург, весь тундровый бомонд пришел в неистовое волнение. Вся местная знать: докторша, жена судьи, почтмейстерша, две или три купчихи и даже попадья — перебывали у нее с одною и тою же просьбой: всем позарез понадобились модные шляпки столичного фасона. Одна бедная исправничиха не решилась скомпрометировать своего сановного мужа, войдя в непосредственные сношения с политической преступницей, и, наверно, по сию минуту льет неутешные слезы.

Теперь Кате хватит беготни с этими шляпками. Впрочем, времени у нее достаточно. Заботливое полицейское начальство решило их свиданиями не обременять. Но это еще как у них получится. Завтра она пойдет сама в этот департамент. И выколотит из них еще несколько свиданий. Не за шляпками же на самом деле она приехала!

Нет, Катю ссылка не сломила и не согнула. Она осталась верна себе. И подтвердила это весьма убедительно на первом же свидании. У нее уже был намечен план действий. Ей дали некоторые адреса их старых друзей, из тех, кто теперь на нелегальном положении. И она уже придумала, как сумеет повидать их и связать их с ним. Надо же ему установить постоянные контакты с организацией.

— Нет, ты, золото мое, в эти дела не ввязывайся,— сказал он ей полушутя, полусерьезно,— у меня есть для этих целей невеста Васса Михайловна, а жене, хоть она тоже Михайловна, тут делать нечего.

Полтора часа пролетели незаметно.

И только в камере подступила щемящая, выжимающая слезу грусть. Когда же, когда встретятся не как арестанты, а как люди?

Катя «выколотила» из департаментских чиновников еще два свидания.

Прошли все свидания, так же как и первое, оживленно, для стороннего глаза даже радостно — были улыбки, порою даже смех. Успели переговорить и о серьезном, о сборах к предстоящей нелегкой дороге в уму не постижимую даль Восточной Сибири. А на последнем свидании, когда оно уже близилось к концу, Катя вдруг сказала:

— А ты знаешь, ко мне приезжал Олтаржевский.

«Не вовремя... О таких вещах надо было или сразу же на первом свидании, или уж совсем промолчать...»

Так подумал, а сказал другое:

— Странно, а ко мне не приходил.

— Наверно, не разрешили.

— А в Вологду разрешили?

— Наверно, без разрешения.

Не время, не время! Если будет нужда для такого разговора, то найдется и время.

* * *

Время пашлось значительно раньше, нежели ему тогда представлялось. Он знал, что ему определено увидеться снова с Катей только на исходе зимы. Неизгладимо стояла перед мысленным взором лаконичная запись в надлежащей графе тюремного журнала: «конец наказания 24 января 1899 года».

Но случилось что-то странное, непонятное и необъяснимое. По крайней мере тогда никто ему объяснить не мог, а потом не было особой охоты доискиваться, что же, собственно, произошло? Принял свершившееся как неожиданный подарок судьбы.

Осенью, когда, по его счету, оставалось ему еще целых пятнадцать недель отсидки в «Крестах», так же вот внезапно вызвали из камеры, привели в канцелярию и сказали, что поступил приказ из департамента полиции: немедленно отправить в Восточную Сибирь. Когда радостная оторопь слегка схлынула, полюбопытствовал: почему столь внезапно?

Ответили, что на основании «высочайшего повеления 12 апреля 1890 года».

И никаких больше пояснений. Наверно, и само тюремное начальство было в недоумении. А он тем более. Каким образом давнее «высочайшее повеление» коснулось его, и, если уж оно имело к нему касание, то почему вспомнили о нем только сейчас?

Когда опамятовался, то прежде всего упрекнул себя в том, что, столько времени промечтав о дальнем путешествии в неведомую и страшноватую Восточную Сибирь, по сути дела, еще и пальцем о палец не ударил, чтобы приготовиться к этому путешествию. Но, с другой стороны, нелепо было и собираться загодя, не будучи даже уверенным в сроках. В запасе были самое малое пятнадцать недель, а теперь вот — поскольку сказали

ему «немедленно» — эти пятнадцать недель обратились, может быть, в пятнадцать часов?

Следующая мысль была еще тревожней. О чем голова разболелась? Не о себе должна быть забота. Он — мужчина, в конце концов что ему! Голому собраться — только подпоясаться. А Катя? Она-то как сможет собраться с такой сумасшедшей стремительностью? Это ведь не в Парголово съездить, даже не в Воронеж...

А следом за этой — мысль еще тревожнее. Захочет ли она в эту треклятую Восточную Сибирь? Судя по всему, хотя бы по той же «шляпочной истории», она там «принята в обществе», освоилась, жизнь, какою бы стесненной она ни была, вошла в колею. Ей осталось прожить в этом вологодском захолустье два года с небольшим... Стоит ли ей ехать в такую даль, в неизвестные условия жизни, в неизведанный климат, да еще на целых пять лет!

Ему, прежде всего ему, следует об этом подумать. Да тут и думать нечего, надо отговорить, убедить, если она будет настаивать, иначе — эгоизм, самый постыдный, самый бессовестный эгоизм.

А если взглянуть с другой стороны? Хорошо ли оставлять ее здесь одну? Ведь это значит взвалить все на нее, чтобы уже она терзалась мыслью о своем эгоизме? Да и к чему все эти размышления и терзания? Ведь все обговорено, обо всем условились. Что изменилось? На три с половиной месяца раньше раскрылись тюремные ворота. Ну и отлично! Раньше уедут в эту самую Восточную Сибирь и, значит, раньше расстанутся и с нею тоже!

Так же думала и Катя. И сказала ему о своем мнении почти этими же словами.

Первый, очень короткий, разговор состоялся между ними в канцелярии московской пересыльной тюрьмы, куда их привели для «опознания» друг друга. Сюда, в печально знаменитую «Бутырку», доставили Катю из

вологодской глуши. А он к тому времени уже более двух недель пользовался прелестями «Бутырки».

Воистину все относительно. Он вспомнил, как томился в своей одиночке в «Крестах», сколь беспросветно унылым был каждый день тюремного существования, как сопротивлялось все его существо монотонно казарменным порядкам, установленным как бы специально для того, чтобы ежечасно и ежеминутно напоминать заключенному, что он не человек, а лишь тень человека, и соблюдавшимся с поистине железной неумолимостью. Но, сопоставив здешние порядки с тамошними петербургскими, сказал себе, что по сравнению с «Бутыркой» «Кресты» могут сойти за тихий семейный пансионат. Во всяком случае, здесь в московской пересыльной, не только не могло быть ни газет, ни цветов, но и самая мысль о возможности подобных послаблений в режиме показалась бы дикою и каждому тюремщику и каждому заключенному.

— Я сам себе кажусь тираном,— сказал он тогда Кате,— что принудил тебя ехать со мной.

— Ты наивен и самонадеян, как всегда,— весело возразила Катя.— Еще не родился человек, который мог бы принудить меня сделать то, что я не хочу делать.

— Тебе там было лучше,— сказал он, не принимая шутки,— у тебя сложился круг знакомых...

— Вот тут ты абсолютно прав,— сказала Катя,— ты безвозвратно лишил меня общества попадьи, заменить которую ты не в состоянии.

И когда он, замолчав, улыбнулся и махнул рукой, сказала уже совершенно серьезно:

— Когда мы будем вдвоем, время пойдет вдвое быстрее.— И снова с улыбкой: — К тому же, нам скостили почти четыре месяца. Выше бороду, Петр Петрович!

Об Олтаржевском Катя заговорила сама.

Было это, кажется, в этапе, следовавшем из пензен-

ской пересыльной в самарскую, или из самарской пересыльной в челябинскую, а может быть, из тульской в пензенскую... Везли их в Восточную Сибирь как-то странно. Первый этап из Москвы был отнюдь не на восток, а на юг. Сперва повезли в Тулу. Оттуда в Пензу. Оттуда в Самару и так далее.

— Заботясь о расширении нашего политического кругозора, нас решили познакомить со всеми тюрьмами Российской империи,— сказала Катя.

Ехали в новеньком арестантском вагоне с решетками на окнах. Когда затопили железную печку — по ночам уже основательно подмораживало,— в вагоне нестерпимо и тошнотворно запахло масляной краской.

Катя выбралась из бабьего угла вагона.

— Не могу спать, голова разболелась от этого угара,— сказала она ему.

Отошли к небрежно застекленному окошку, от которого тянуло свежей прохладой.

— Олтаржевский еще раз приезжал,— сказала Катя.

Он промолчал.

— Что же ты не спросишь, зачем приезжал?

— Зачем приезжал?

— Все допытывался, люблю ли я тебя.

— И что ты ему сказала?

— Ты не догадываешься?

— Уши надо было ему надрать,— сказал он без злости, но и без улыбки.

— Зачем...— вздохнула Катя.— Он еще мальчик. Незабвенная пора, золотое детство.

Олтаржевский был на четыре года моложе Кати и на пять лет моложе его.

— В чем же это его детство проявилось? — спросил он с неласковой усмешкой.

— В чистоте...— сказала Катя.— Он потребовал, чтобы я призналась, люблю ли я тебя, сказав, что только

после этого он откроет мне свои планы. Сказано это было достаточно торжественно. И, конечно, я не была бы женщиной, если бы у меня не взыграло любопытство. Планы были наполеоновские. Если сердце мое свободно, он увезет меня за границу в Финляндию, а затем в Европу.

— Какую блистательную возможность ты упустила! — посочувствовал он.

— Злюка! — сказала Катя.— Мог бы и пожалеть бедного рыцаря. Он в отношении к тебе был предельно честен.

— Хорошенькая честность! — возмутился он.— Должен был у меня разрешение получить.

— Увы! Даже самые благородные мужья и те феодалы,— сказала Катя.

Добрую память по себе оставил город Омск.

В Омске радостные неожиданности сыпались на них, как из рога изобилия.

Первая: в отступление от общих правил, их с Катей отделили от общего этапа, и им было разрешено следовать до центра Восточной Сибири, города Иркутска, по железной дороге за свой счет.

Вторая: удовлетворили просьбу, высказанную в прошении, поданном на имя генерал-губернатора Западной Сибири и мотивированную заболеванием Кати,— задержаться до выздоровления жены в городе Омске.

Третья — уж совсем неожиданная и особенно их обрадовавшая: разрешено было проживание на вольных квартирах, а именно в доме брата Николая, с обязательством лишь ежедневной явки на отметку.

Была и четвертая радостная неожиданность, но это уже особая статья и особый разговор.

Остановке в Омске он обрадовался: можно будет уви-

деться с матерью; он видел Ольгу Николаевну последний раз три года назад. Но эта надежда не сбылась. Мать уехала к сестре Людмиле, которая, вместе со своим мужем, народником Андреем Матвеевичем Лежавой, отбывала ссылку в уездном городке Иркутской губернии Верхоленске. Можно было не терять надежды на то, что несколько позже все же удастся увидеться.

— Ты не совсем еще забыл историю Древнего Рима? — спросила его Катя на второй или третий день пребывания в гостеприимном доме Николая Степановича.

— По истории мне в аттестате выставили тройку,— ответил он.— Но все же кое-что помню. А что именно тебя интересует в истории Древнего Рима?

— Кто, вернее, что́ погубило Антония?

— Как раз не что, а кто,— возразил он.— Это я тебе могу точно сказать. Антония погубила Клеопатра.

— Только бы свалить на бедную женщину,— сказала Катя.— Избитый и пошлый мужской прием. Изнеженность его погубила. А Клеопатра — это подробность.

— Ничего себе подробность.

— Именно подробность!

— Ну, пусть будет так. Но к чему весь этот экскурс в историю древних веков?

— Не трудно догадаться,— сказала Катя.— Ты Антоний. И я с тобой тоже Антоний...

— А кто же Клеопатра?

Но Катя зажала ему рот и продолжала:

— Еще несколько дней такой бесстыдно безмятежной жизни, и мы превратимся в благонамереннейших верноподданных его самодержавного величества.

— А он, мятежный, ищет бури!

— Да, мятежный, да, ищет! — сказала Катя непримиримо.

Тогда он улыбнулся и потрепал ее по голове.

— Будут и бури. Будет и летний зной, и осенняя непогода, и зимняя стужа. Будут и нескончаемо длинные зимние ночи в тайге или в тундре. А если угодим в Заполярье, то и месяцы без солнца... Все это нас не минует. И не кори себя за то, что тебе перепали какие-то крохи тепла и радости.

Николай и все его семейство с трогательной заботливостью ухаживали за своими родичами. Конечно, им очень повезло, что между тюрьмой и ссылкой, посреди омерзительного этапного пути приготовила судьба такой оазис. Удручало одно — опасение, как бы это оказанное «политическим» гостеприимство не повредило брату по службе.

Но Николай Степанович успокоил его, сказав, что здесь, за Уралом, несколько иные порядки, нежели там, в России. В здешнем «обществе» сочувственное отношение к «политическим» вовсе не считается предосудительным.

— Ссыльные приняты здесь в лучших домах,— сказал ему Николай.

— И в твоем доме тоже? — спросил он брата.

— И в моем тоже,— ответил Николай.— И не далее как сегодня вечером ты сможешь в этом убедиться. Тебя ждет, надеюсь, приятная встреча.

Ждал чего угодно, но только не этого...

Вечером пришел товарищ по «Группе народовольцев» и бывший его непосредственный начальник в статистическом отделе Лев Карлович Чермак.

Потом, значительно позднее, уже став убежденным марксистом, одним из ближайших и вернейших сподвижников Ленина, вспоминая о том, как сменил кафтан народовольца на рабочую куртку социал-демократа, сам

поражался, насколько легко и безболезненно это произошло. Но легким и безболезненным это представлялось потом, значительно позднее. А на самом деле не сразу и вовсе не стихийно пришел он к приятию марксизма. Жизнь терпеливо переучивала его и позаботилась о том, чтобы у него не было нехватки в заслуживающих доверия учителях.

Многому научился он у рабочих, которых обучал в подпольных кружках на Выборгской стороне. У фабричных рабочих нашел он то чувство локтя, то чувство товарищеской классовой солидарности, без которого бессмысленно подниматься на борьбу.

И когда арест оборвал его связи с рабочими, он тужил не только об утраченной личной свободе. Утратилась, казалось, всякая возможность расширять свой политический революционный кругозор, двигаться вперед в политическом развитии. К счастью, он ошибся. И в тюрьме можно было учиться. В тюрьме у него были книги.

Больше всего он взял у своего любимого Щедрина. Именно у него нашел он ответ на многие мучительно волновавшие его вопросы. Именно Щедрин окончательно развенчал в его глазах «спасительную» крестьянскую общину, на которую молились народовольцы и в которой видели они прибежище и спасение для русского народа.

Щедрин помог ему осмыслить те уже известные факты, до глубинной сути которых ему самому как-то не удавалось добраться.

Словно озарение испытал он тогда, записывая в тюремном дневнике: «Сделал открытие: в России нет крестьянства! Из статистических работ по Воронежской губернии помню, что каждый крестьянин (юридический, конечно) или нанимает батраков, или сам нанимается, то есть добывает средства из источника, постороннего хозяйству».

Тогда он не знал, что уже за два года до этого Ленин, создавая свою работу «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», изучил те же самые исходные материалы и установил непреложный факт расслоения крестьянства, «верхние группы которого переходят в буржуазию, низшие — в пролетариат».

Тогда ему не была еще известна эта ленинская работа, но отношение к крестьянской общине у него уже сложилось вполне определенное.

В одном из своих тюремных писем к сестре Людмиле он писал: «Натолкнул на размышления меня вопрос, предложенный еще Щедриным: что дала России община и от чего она предохранила? Желая ответить на этот вопрос, я в конце концов, к немалому своему изумлению, пришел к такому выводу: «община ничего не дала, ни от чего не предохранила»... Из сторонника общины я сделался ее безусловным отрицателем и вижу в ней один из остатков крепостного права, не менее, если не более вредный, чем розга, невежество, произвол и т. п. Нет ничего невероятного, что я приду к выводу (*теперь* я этого еще не утверждаю), что именно община хранит и питает такие учреждения, как розга, невежество и произвол».

Дорогой его сердцу и глубоко им чтимый Щедрин помог развеять иллюзии в революционной сущности общины, а сухая и скучная «Торгово-промышленная газета» снабдила полезным, толкающим на размышления материалом: количество промышленных предприятий и число фабрично-заводских рабочих в России увеличивалось из года в год.

И если смотреть правде в глаза (а он никогда не страшился этого), нельзя было не прийти к выводу, что решающей силой грядущей социальной революции предстоит стать именно рабочему классу.

Это утверждали его идейные противники, исповедую-

щие марксизм, социал-демократы. Ожесточенно оспаривали — его друзья народовольцы. И он вместе со своими друзьями. А теперь... отрекаться от своих друзей? Платон мне друг, но истина дороже? Слова стали крылатыми, но следовать им далеко не так легко и просто.

И ему казалось, что он стоит на распутье.

Потом, когда все в его душе и в его политической жизни определилось, он, вспоминая эти очень для него важные дни, видел себя уже вполне созревшим для решения, вполне внутренне подготовленным. Нужен был лишь внешний толчок. Этим решающим толчком суждено было стать омской встрече со старым товарищем по «Группе народовольцев» Львом Карловичем Чермаком.

Сам Лев Карлович как был правоверным народником, так им и остался.

Он никогда не слыл человеком крайних убеждений — это даже Катя понимала и ни разу не предложила включить его в число участников «Аничковской» операции,— а за последние годы, в полном согласии с общей тенденцией эволюции народничества, довольно заметно подвинулся в сторону буржуазного реформаторства. Это сразу бросалось в глаза.

Встреча была неожиданной для обеих сторон. Как оказалось, хозяин дома всем устроил сюрприз.

Лев Карлович от природы склонен был к сентиментальности и, увидев Александровых, особенно Катю, к которой всегда относился как к любимой сестре, расчувствовался до слез.

Да и они с Катей были взволнованы и растроганы неожиданной встречей со старым товарищем по организации и добрым другом, не раз в трудные минуты жизни протягивавшим руку братской помощи.

— Сюда? К нам? — радостно закричал Лев Карлович, едва завидел их с Катей.

— Нет, Левушка, нам гораздо дальше,— огорчила Катя старого друга.

— Куда же?

Катя только плечами пожала и мотнула головой в сторону Михаила. А тот что мог сказать? Только лишь:

— Не ближе Иркутска, не дальше Охотска.

— Да, велика матушка Восточная Сибирь,— поник головою Лев Карлович.

— И наша Западная Сибирь тоже не ближний край, от Омска до Петербурга без малого три тысячи верст. Да ведь живем, не помираем. Даже привыкли, можно сказать,— попытался утешить Николай Степанович.

Особенно хотелось ему подбодрить невестку, впервые попавшую в столь далекие края.

Но Катя меньше всех нуждалась в утешении. И тут же отозвалась задорно:

— Вполне согласна с вами, Николай Степанович. Живы будем, не умрем!

— А все-таки хотелось бы узнать, куда вас отправят? — продолжал Лев Карлович.— Не из пустого любопытства, Михаил Степанович. Наши люди повсюду рассеяны. Дал бы вам письма, чтобы встретили, помогли обосноваться. А то нелегко будет на первых порах.

И взял с него твердое слово, что по прибытии в Иркутск, как только определится место ссылки, тут же сообщат в Омск, а Лев Карлович немедленно напишет и пошлет нужные письма.

За обильным сибирским столом завязался нескончаемый разговор. Делились пережитым, замыслами на будущее. Катя нет-нет да и сводила разговор на политику, но он, оберегая репутацию брата, старательно уводил разговор с опасной колеи. Но даже и в беседе с оглядкой вскоре выявилось, что Лев Карлович изрядно присмирел.

И все же именно от почти угасшего Чермака получил он тогда решающий толчок.

Когда женщины ушли на свою половину, а Николай Степанович отлучился сделать распоряжения по дому

на следующий день и они остались в гостиной одни, Чермак подошел к нему и сказал, что сегодня получил весьма интересный документ.

— Я, конечно, не разделяю изложенных в нем взглядов, но документ любопытный...

И передал ему Манифест Российской социал-демократической рабочей партии, изданный после Первого съезда.

О том, что такой съезд состоялся, Михаил слышал еще в Самаре от друзей, навестивших его в пересыльной тюрьме. Но они тогда смогли сообщить ему лишь один голый факт. Более подробные сведения до Самары в ту пору еще не дошли.

И в Челябинске особых подробностей не смогли ему сообщить. Да, был съезд. Делегатов было немного: что-то около десяти, может быть, чуть больше или чуть меньше. Да и тех после съезда почти всех арестовали. Было принято не то воззвание, не то обращение к рабочему классу. А какое, пока неизвестно...

И вот у него в руках Манифест.

Он хорошо помнит, какое огромное впечатление произвел на него Манифест. Словно из душной и тесной конуры вышел на вольный простор, на берег могучей реки и полной грудью вдохнул свежий, бодрящий воздух...

Возникла и отныне существует сплоченная воедино сила — политическая партия российского рабочего класса, которая на весь мир открыто заявляет о своих целях: «Русский пролетариат сбросит с себя ярмо самодержавия, чтобы с тем большей энергией продолжать борьбу с капитализмом и буржуазией до полной победы социализма».

— С чем ты не согласен в этом Манифесте? — спросил он тогда Чермака.

— Это все те же марксистские бредни,— с некоторой даже досадой ответил Чермак.— Это все попытки жить

чужим умом. Может быть, в Англии или в Германии есть рабочий класс, готовый к борьбе за власть. Но у нас в России... где он?.. Конечно, пустые бредни!

— Ты ошибаешься, Лев. Вспомни, уже в те годы, когда мы еще были на свободе и занимались с тобой мирной статистикой, эта самая статистика обнаружила, что в Питере десятки тысяч рабочих.

— Ну что такое десятки тысяч рабочих в многомиллионной крестьянской стране! Да хоть бы и сотни тысяч! Ты прости меня, Михаил, ты больше меня отдал святому делу нашей борьбы, и не мне тебя укорять, но все же не могу промолчать: ты изменяешь идеалам «Народной воли».

— Ты сам-то прочел Манифест?

— Странный вопрос! — удивился Лев Карлович.

— Совсем не странный. Какая измена? В Манифесте социал-демократов сказано: социал-демократия идет к цели, ясно намеченной еще славными деятелями старой «Народной воли». Где же тут измена?

— Слова...— сказал Чермак. Помолчал и еще раз повторил: — Слова и слова... И, знаешь, не надо нам сейчас спорить. Ты отстал от жизни, живешь старыми иллюзиями, а жизнь ушла вперед. Оглядишься вокруг себя, присмотришься к сегодняшней жизни, тогда и сам все поймешь.

Но он и сейчас все понял. Человек устал. Устал — потому что изверился или изверился — потому что устал? Да не все ли это равно. Одним борцом стало меньше. Мог ли он осуждать бывшего товарища по борьбе? Не каждому отпущено мужества и сил одной мерой.

* * *

Пришла сестра, как всегда, в пальтишке, накинутом поверх больничного халата, и принесла письмо от старого друга.

Письмо Марии Эссен было коротким — стремительность натуры не позволяла ей изливаться в длинных посланиях. Зато Мария умела писать короткие письма. На одной страничке, исписанной твердым, совсем не женским почерком, уместились боль и тревога за друга, перенесшего тяжелый удар судьбы, уверенность, что самое опасное уже позади, слова доброго привета и надежда в самом скором времени увидеть его и убедиться, что он здоров и жизнерадостен.

Милая, славная душа! Как она узнала о постигшей его беде? Она ведь где-то очень далеко. Где-то за линией деникинского фронта. Почтового штемпеля нет на конверте, письмо доставлено в Москву с оказией. Мария Эссен, как и в юности, всегда на передовой...

Когда вспомнишь о ней, энергичной, целеустремленной и бесстрашной, совсем невмоготу становится пролеживать здесь бока.

— Скоро ли отпустите на волю, сестрица?

— Про то врачи знают.

— Они-то знают. Может быть, и вы, сестрица, около них что-нибудь слыхали?

— Нет, про вас разговору не было.

— Пора бы уж отпустить.

— Уход да догляд за вами нужен. А есть ли у вас кому? Жена-то есть?

— Нет жены.

— А детки?

— И деток нет.

— Бобыль, стало быть. Куда уж вас отпускать. Здесь будем долечивать.

Бобыль... слово-то какое сыскала. Да ведь не в слове суть, а в том, что за словом.

Еще раз перечел коротенькое письмо, и как будто вернулись давно прошедшие годы — тысяча девятьсот первый год, словно перенесся в края отдаленные — да-

лекую Якутию и увидел себя самого в жаркий августовский день на берегу сказочно могучей реки...

Солнце палит нещадно. На густо-голубом небе ни единого облачка. Ни малейшего дуновения ветерка, ни один лист не шелохнется на кустах прибрежного тальника. Зной, накопившийся на пологих склонах, стекает к реке, вбирая в себя свежесть речной прохлады.

Трудно поверить, что ты в Якутской области, в крае вечной мерзлоты, где-то не очень далеко от полюса холода...

Вся олекминская колония политических ссыльных высыпала на берег Лены. И Михаил с ними. Он еще не успел свыкнуться с внезапно наступившим одиночеством — Катя уехала всего две недели назад, срок ее высылки закончился, и они, как-то внезапно, но вполне согласно решили, что место революционера — в гуще событий. Сам не замечая того, он сторонился остальных, вышедших на берег семьями. Взгляды всех устремлены на реку, точнее сказать, на дальний край ее плеса, туда, где, вывернув из-за горы, она привольно разлилась по долине и пошла мимо городка Олекминска, прилепившегося на террасе высокого берега, могучим потоком трехкилометровой ширины. Там, едва уловимо глазу, на голубой до синевы глади реки, словно щербинка, едва наметилась темная черточка.

В толпе раздались голоса:

— Плывут! Плывут!

— Ишо шибко далеко, паря, покудова доплывут, пообедать запросто,— говорит пожилой сахаляр, поглаживая редкую сивую бороденку. Поворачивается и бесшумными, не по возрасту легкими шагами поднимается вверх по склону, усыпанному мелким галечником. За ним, переговариваясь, уходят несколько баб и мужиков. Вся колония ссыльных, а также стайка чумазых босоногих

мальчишек и девчонок остаются на берегу ждать прибытия карбазов.

Точно известно, что с этими карбазами прибывает новая партия политических. И всех волнует, кого-то пошлет судьба в товарищи? Далеко не праздный вопрос. Вопрос жизни, а иногда — если вспоминать верхоленскую трагедию с Николаем Евграфовичем Федосеевым — и смерти.

Подумал и усмехнулся грустно. Сколь же сильны бациллы эгоизма в каждом. Разве не они заставляют желать, чтобы плыли на этих карбазах люди хорошие, а не дурные. Если хоть немного возвыситься над личными интересами, то куда логичнее было бы желать обратного...

Черточка на густо-синей глади реки заметно приблизилась.

— Четыре карбаза в связке! — закричал мальчишка, очевидно, самый глазастый.

А еще через несколько минут уже всем ожидающим хорошо стала видна связка карбазов с грузом, накрытым брезентовым пологом, и небольшими кучками людей на корме каждого карбаза.

Рулевые на носовом и хвостовом карбазе энергично работали маховыми веслами, и связка, медленно плывя по течению, одновременно приближалась к берегу.

Едва карбаза ткнулась смолеными боками в прибрежный песок, словно из-под земли вырос полицейский пристав, тучный и потный, в огнедышащем мундире и картузе с кокардой, встречать пополнение своей паствы. Политических выпускали на берег по одному.

«Бог ты мой! — подумалось ему.— И тут предосторожности. Куда здесь убежать средь бела дня?»

По узкой плахе, переброшенной с борта карбаза на прибрежный песок, ссыльный выбирался на берег и подходил к приставу.

— Фамилие? — вопрошал пристав сиплым пропитым басом, оглядывая подошедшего с головы до ног.

Политический отвечал, пристав сверял по списку, делал пометку и отпускал ссыльного:

— Проходи!

Большеглазая светло-русая девушка, отойдя от пристава, с любопытством оглядела группу ссыльных и задержалась взглядом на Михаиле. Может быть, потому, что он стоял несколько в стороне от остальных.

Так он подумал тогда, заметив ее взгляд, но позднее, когда они стали близкими друзьями, она рассказала ему, чем он привлек ее внимание:

— Почти у всех встречавших нас было на лицах какое-то, не подберу точного слова, ну почти алчное выражение. Чувствовалось, что им не терпится поскорее наброситься на нас со своими расспросами. Понимаешь, они обрадовались, увидев нас. У одного тебя глаза были ласковые, но грустные. Поэтому я и выделила тебя сразу. А уже когда пригляделась, поразилась, какое у тебя красивое лицо. Хотя грузная комплекция и твоя почти седая борода очень тебя старили. Но зато глаза были совсем, совсем молодые...

И он тоже выделил ее. Маленькая, худенькая, она показалась ему похожей на усталую, замученную преследованием косулю. Он понял, что девушка сильнее, нежели другие ее спутники, тоскует по оставшемуся позади большому миру борьбы и тревог. И нашел какие-то ласковые слова, чтобы ободрить ее.

— Вы устали от этого многодневного, уныло-однообразного плавания. Отдохнете, отоспитесь, и божий свет покажется вам милее,— сказал он ей.

— Вряд ли,— возразила она.— Пока везли, еще была какая-то надежда, какой-то проблеск надежды если не убежать, то хоть утонуть, а теперь...— она исподлобья покосилась на пристава,— от такого не убежишь...

И с такой болью отчаяния произнесла она это, что и ему стало не по себе, и заготовленные слова утешения словно прилипли к горлу.

И вместо ободряющих слов, сам не заметил, как пробормотал мрачно:

— Утонуть и здесь можно...

Но она уже взяла себя в руки.

— А убежать?

— Убежать труднее. На моей памяти никто еще отсюда не убежал.

— Что же делать? — с тихой яростью спросила она.

— И здесь люди живут,— сказал он.

Она пытливо посмотрела ему в глаза.

— Вы думаете, живут?

Медленно покачала головой и сказала, не ему, а как бы самой себе:

— Пять лет, пять лет! Нет, это невозможно.

— Меня тоже на пять лет,— сказал он.

— А сколько уже прошло? — с живостью спросила она.

— Почти три года.

— Значит, вам-то всего два осталось. Три уже прошло! — воскликнула она, едва ли не с обидой.

«Пройдут и у вас»,— чуть было не сказал он ей, но удержался, почувствовав, что обидит ее.

Ночью плохо спалось. Растревожила яростная неукротимость этой светлоголовой. Они с Катей, приехав сюда, вроде бы смирились, приняли свершившееся как неизбежное. Правда, Катя, едва закончила срок, уехала в большую жизнь, а он... терпеливо ждет. И будет ждать еще два года. А эта светлоголовая и дня ждать не хочет.

Явственно встало в памяти, как добирался сюда три года назад. После счастливого омского «оазиса» путевые беды и лишения вроде бы закончились. До Иркутска ехали в классном вагоне, обремененные сверх взятого из

Москвы багажа еще и двумя корзинами всевозможной снеди, тщательно упакованной пухлыми ручками заботливой невестки. В Иркутске определилось место ссылки — Олекминск на Лене, уездный городок Якутской области. Все новые их иркутские знакомые в один голос утверждали, что повезло: хоть и Якутия, но самый ближний ее конец. А ведь есть еще Вилюйск, Верхоянск, Оймякон...

И в самом деле повезло. Навигация уже закончилась, и зиму предстояло прожить в верховьях реки, в Верхоленске. А там в ссылке сестра с мужем, и мама с ними.

Встреча с родными взволновала, даже потрясла. Особенно встреча с матерью.

Может быть, впервые по-настоящему понял, как без вины, но все же виноват перед нею. Сколько было у нее мучительных тревог, бессонных ночей, сколько горьких слез пролито!.. И лишь потому, что сам выбирал себе такую судьбу. Мать давно поняла все. Еще с той ночи, когда допытывалась у сына-гимназиста, зачем он хранил револьвер...

Ни слова упрека от матери он не услышал. Она молча обняла его, уткнулась лицом в его бороду и заплакала. А сестра Людмила бранила ее за неуместные слезы.

— Радоваться надо,— говорила она,— что тюрьма позади. После тюрьмы ссылка — это почти воля! Да еще обоих в одно место. Радоваться надо, что так повезло!

Нет, им с Катей наконец-то действительно повезло. И эта передышка очень была нужна. И что особенно порадовало его: с мужем сестры они сразу сошлись.

Андрей Матвеевич Лежава прошел тот же путь душевных исканий в своем движении от народничества к марксизму. И, вероятно, несколько даже опередил его. Во всяком случае, когда в разговоре коснулись вопроса о партийной принадлежности, Андрей Матвеевич сразу, не задумываясь, назвался социал-демократом.

— А ты, Михаил? — спросил зять.

Он ответил, что после Манифеста Социал-демократической рабочей партии, который прочел в Омске, последние его сомнения рассеялись, пришла твердая уверенность в правоте марксистов.

— Понимаешь, Андрей,— сказал он зятю,— умом я сознаю и понимаю, что только рабочий класс сметет самодержавие и что все силы надо положить на то, чтобы поднять рабочих, всех рабочих, на сознательную борьбу. Но это — умом. А где-то вот тут,— он коснулся груди,— какой-то червь точит: не потому ли отрекаешься от террора, что так безопаснее? Агитаторов ссылают, а террористов вешают. Это мне, между прочим, Катя как-то сказала.

— Не права твоя Катя,— спокойно возразил Андрей.— Ведь агитация только первый этап. Потом рабочий класс выйдет на баррикады. А смерть на баррикаде не менее почетна, чем смерть на виселице. И куда полезнее для дела революции.

И возразить было нечего — ни умом, ни сердцем...

Пришла весна и с нею конец передышке.

Андрей Матвеевич — через кого-то из знакомых, имевших влияние на еще более влиятельных лиц, близких к канцелярии самого генерал-губернатора,— сделал попытку заменить родичам Олекминск на Верхоленск. Попытка не увенчалась успехом. Судя по всему, масштабу вины Михаила Александрова соответствовала более высокая географическая широта.

Узнав, что плыть в Олекминск предстоит на паузках, или — по-местному, по-ленскому — на карбазах, он часто приходил на берег Лены, посмотреть, как их строят.

Это были очень любопытные суда. Что-то среднее между плотом и лодкой-плоскодонкой. А точнее всего — плот с наращенными бортами. Но, в отличие от обычного плота, и днище и борта карбаза тщательно конопатились

и проваривались, чтобы вода не просочилась меж бортовых плах и брусьев днища. Форма — прямоугольная, размер — шагов восемь в ширину и двенадцать в длину. Высота бортов чуть больше аршина. У карбаза, которому надлежало встать в голову связки, передний борт скашивался, как нос у судна. Карбаза сооружались из отборного, полномерного, хорошо просушенного леса. Сначала выстилалось дно карбаза. Высушенные до звона сосновые бревна ошкуривались, обтесывались и подгонялись друг к другу с такой же тщательностью, как если бы рубили жилую избу. Бревна скреплялись деревянными штырями, загоняемыми ударами обуха в предварительно просверленные отверстия. Штыри вытесывались из сухой березы, разбухнув в воде, они держали крепче любого гвоздя. В собранное днище врезали ребра-шпангоуты, к которым потом крепились борта. Шпангоуты вытесывались из самого прочного материала — специально отобранных, круто загнутых еловых корневищ. Борта собирались из толстых двухвершковых сосновых плах. Готовый карбаз скреплялся по всем четырем углам железными скобами, тщательно прокопопачивался и обильно смолился кипящей смолой.

Несколько дней Михаил пытливо присматривался к плотникам, рубившим карбаза, и наконец решился попросить, чтобы и ему доверили какую-нибудь работу.

— Али на заработок наш польстился, барин? — спросил мужик с седоватой бородой, по-видимому старшой артели.

— За заработком не гонюсь,— сказал он,— меня казна тюремными харчами кормит.

— Стало быть, руки чешутся? — сказал молодой веснушчатый парень.

— Чешутся,— признался он.— Смотрю вот и любопытствую... Да и как иначе, мне на этих карбазах до самого Олекминска плыть.

— Знать, шибко торопишься,— усмехнулся тот же веснушчатый.— Али в Олекме слаще?

— Нашему брату везде сласть одна. Да уж хоть бы скорее до места добраться. А то, считай, полгода в дороге...

— Что же с тобой делать,— сказал старшой.— К топору тебя подпускать нельзя, либо наше бревно, либо свою ногу попортишь. Давай бери вон сверло, а я покажу, в каких местах дыры вертеть.

Немного он наработал в тот день, сверло тоже плохо повиновалось ему, но никаких насмешек никто из плотников себе не позволил.

А веснушчатый парень, самый любопытный из всех, спросил сочувственно:

— А за что же тебя, барин, в Сибирь приволокли?

Вопрос уж на что простой, вовсе бесхитростный, а как на него коротко ответишь?

— За то, что против других бар пошел.

— А на черта тебе это надо? — спросил молодой плотник.— Али самым главным изо всех захотел стать?

А что, если поговорить с ними всерьез? Попытка не пытка. Может быть, какое семечко и прорастет.

— Нет, дело совсем в другом. Главных у нас хватает. Даже, по совести сказать, лишок имеется. И самый главный есть. У меня и у товарищей моих другая забота. Так повернуть жизнь, чтобы все было по справедливости.

— Это как у хлыстов, што ли? — спросил старшой, покосившись на него явно неодобрительно.— Из одной миски хлебать, одним пологом укрываться?

— Не совсем так. Пусть миска у каждого будет своя, только чтобы в миске у каждого было.

— А тут в соседях виноватых не ищи,— все еще насупясь, возразил старшой.— Ежели я топором помашу от зари до зари, у меня и мясо в чугунке и чай-сахар на

столе; а ежели пролежу день-деньской пузом кверху, токмо редька с квасом, да и той не досыта.

С этим мужиком стоило поспорить. Это не пустобрех, а труженик. В жизни твердо на ногах стоит и силу своих рабочих рук знает. Что же, и в Питере встречал он таких. Даже среди фабричных рабочих. Преимущественно из числа мастеров. Вот и этот мастер своего дела и уверен, что сам своего счастья кузнец. Этого одними рассуждениями, даже самыми хитроумными, не убедишь. Ему житейский факт подавай. Да такой, чтобы можно было не только взглянуть, а и руками пощупать. Ну что же? Отыщем и такой. Недаром ползимы здесь прожито. Да еще к тому же неподалеку от полукаменного, крытого железом дома главного здешнего мироеда лавочника Иннокентия Ивановича Черемных. Вот где пригодилось соседство...

— Я вот часто мимо окон Иннокентия Ивановича прохожу. Знаете такого?

— Кто не знает,— усмехнулся веснушчатый.

— И часто вижу, как он чаи распивает или вечерами застолье с гостями ведет. Не один раз встречал его на улице или возле дома. Но ни разу не видел Иннокентия Ивановича с топором, или с лопатой, или хотя бы с метлой в руках. Ни разу не видел его в поле за плугом, да и в лавке не сам он аршином машет. Везде у него батраки, приказчики и прислужники. Сам же он палец о палец не ударит... А ведь живет-то куда лучше вашего? — И уже прямо в упор насупившемуся старшому: — По какой такой причине?

— У его капитал,— мрачно отзывается старшой.— Его с нами не равняй.

— За ем не угониссi,— поддерживает старшого колченогий старичок в заношенной до дыр рыжей нояркowой шляпе.— У ево и родитель лавку держал. Ихняя фамилия спокон веку известная в Верхоленске...

— Ну и что с того, что известная,— возражает веснушчатый парень,— правильно хороший человек объясняет, хоть про этого живоглота тоже. Не жнет, не сеет, а деньги под себя гребет лопатой...

Один единомышленник уже определился. Но надо довести до ума старшого.

— Иннокентий Иванович, конечно, мироед, или, как правильно тут сказали, живоглот. Только маленький живоглот, мелкий мироед. На него работают, если сосчитать всех его приказчиков, батраков и прислужников, человек десять, от силы пятнадцать. Да и вы все на него работаете.

— А мы-то пошто на него? Мы на себя! — сердито мотнув головой, возразил старшой.

— В том и суть, что и вы все на него работаете. Он продает вам товары не по той цене, что сам купил, а гораздо дороже. Иной раз и копейку на копейку накинет, рубль на рубль. А иначе зачем бы он стал торговать? Всякая торговля для барыша. И выходит, что он вас каждого, сколько вас есть в Верхоленске, заставляет на себя работать, ну хоть не с утра до вечера, а, скажем, по часу в день. Вот и получается, что работает на него по крайней мере сотня людей. И все равно мироед он мелкий. А вот в Питере, откуда меня выслали, есть фабрики, на которых работают до пяти тысяч рабочих. И все они работают на одного хозяина. Разве это справедливо?

Завершить начатую беседу не удалось.

Веснушчатый парень углядел, что из-за дощатых пристанских лабазов вывернулась знакомая фигура урядника, и сказал об этом старшому.

— Пошабашили, хватит. Давай за работу! — энергично скомандовал старшой.— А вы, барин хороший, шли бы своей дорогой. И, значица, так: вы нас не видали, мы вас не слыхали. А то долго ли до греха. Как зачнут таскать по судам да по допросам...

Не хотелось обрывать серьезный разговор, не доведя его до конца. Впрочем, самое главное он успел сказать. И плотники хорошо его поняли. Пусть каждый на свой лад, но самую суть все уловили. И для него самого разговор был полезен. Первый случай откровенного доверительного общения с местным рабочим людом. Рабочие люди везде есть. И не раз еще придется вести с ними откровенные беседы. И все-таки досадно, что не договорили. Каких-то минут не хватило...

Но карбазный мастер был прав, оберегая его от полицейских глаз и ушей. Здесь, на краю света, церемониться не станут. И сыщут место подальше и поглуше Олекминска... Про здешние порядки он уже наслышан: закон — тайга, прокурор — медведь!

Вряд ли на тот именно карбаз угодили они с Катей, к сооружению которого и он руки приложил. Карбазов каждую весну отплывало вниз по Лене великое множество. Но Кате он сказал, что это тот самый, и заметил, что ее это порадовало.

Первыми отправлялись в путь связки карбазов, которым предстоял самый дальний путь — до Якутска или и того дальше, к устью Алдана и к устью Вилюя, а некоторым — и совсем в низовья Лены до Жиганска и Булуна, а это без малого четыре тысячи верст.

А до Олекминска рукой подать — и полутора тысяч не наберется. Но и эти полторы тысячи верст плыли они больше четырех недель.

Катиного терпения хватило с горем пополам только на первую половину пути.

— Когда же конец-то будет? — возмущалась она.— Стоим ведь, на месте стоим! Вот уж поистине первобытный способ путешествия!

Первые дни, пока плыли по верхнему течению Лены

мимо Жигалова, Осетрова, Маркова и река еще не перестала быть рекою и даже с середины ее хорошо можно было разглядеть не только избы на берегу, но и играющих на песке ребятишек и бегающих по улицам собак,— заметно было, что карбаза плывут и берега уходят назад достаточно быстро.

Лоцманы проворно работали длинными рулевыми веслами, прилаженными на головном и на замыкающем карбазе связки, вся связка послушно следовала извивам фарватера, и новые картины величавой сибирской природы открывались взорам путешественников.

Даже Кате, родившейся и выросшей на Кавказе, было чему подивиться. А ему, жителю равнинной России, и подавно все было в диковинку.

Крутые, почти отвесные скалы теснили реку с обеих сторон. Невозможно было понять, как удерживаются на этой круче деревья: почти от самой воды и до гребня, упирающегося в облака, густо росли ели и сосны, словно бархатным темно-зеленым пологом застилая откосы берегов. Местами зелень полога вспарывалась выпирающими ржаво-бурыми или сизо-фиолетовыми обломками скал, а внизу, вдоль кромки берега, протянулась широкая полоса разноцветной каменной осыпи.

Река металась из стороны в сторону, прорываясь между каменными кручами, и только искусство ленских лоцманов помогало проводить неуклюжие связки карбазов по круто рыскавшему фарватеру.

На пятый или шестой день плавания связка приблизилась к Пьяному быку.

Один из лоцманов подошел к нему и предостерег:

— Скоро Пьяный бык. Слыхал, поди?

— Не слыхал...— и, словно оправдываясь, пояснил: — первый раз в этих краях.

— Коли не слыхал, то запоминай. Будь настороже. Опасное место. Плавать-то умеешь?

— Умею...— не совсем уверенно ответил он.

Одно дело — плавать в степной речушке его детства, совсем другое — в этой сатанинской реке.

— Смотри в оба,— предупредил лоцман.— В случае чего, доглядывай за молодухой.

Он не сразу понял, чего следует опасаться. И уразумел, только когда связка вышла на поворот и Пьяный бык стал хорошо виден.

Вспарывая темную гладь реки, в русло ее вдвинулась острым углом колоссальная черная, совершенно отвесная глыба. Стрежень реки бил прямо в каменный нож. Вода бурлила у скалы, словно под форштевнем идущего полным ходом корабля, пенилась и свивалась в водовороты. Все мужики, и он тоже, кинулись к веслам, на помощь лоцманам. Казалось, катастрофа неминуема. Связку тащило прямо на каменный нож...

И когда он уже покорился мысли, что все кончено,— крутая струя отвела головной карбаз в сторону и вся связка проскочила мимо скалы.

— Пронесло, царица небесная! — сказал лоцман и истово, широко перекрестился. Вслед за ним перекрестились все.

И тут же где-то в вышине грянул выстрел, и оттуда же сверху донесся пронзительный, даже визгливый в своем надрыве голос.

— Хозяин Камня провожает,— сказал лоцман.

— Смотри, смотри! — закричала Катя.

На вершине скалы, у самого ее края, топтался, припрыгивая и приплясывая, крохотный с такого расстояния человечек, одетый не то в белый балахон, не то в длинную рубаху. Он размахивал руками, в одной из которых зажато было ружье, и что-то распевал во весь голос. Но ветром звук относило в сторону, и ни мелодии песни, ни слов ее нельзя было разобрать.

— Кто это? — спросил он лоцмана.

— Сторож. От казны на должность поставлен, и от казны ему жалованье идет.

— Что сторожить? — не понял он.

— По ночам или в туман костер зажигает.

— Вроде как бы смотритель маяка?

— И так можно сказать,— согласился лоцман.

— А пляски и прочее?

— Давно он тут. Лет, может с полста... Ишо отец мой карбаза по Лене спускал, он уж тута был. Говорят, одичал, умом тронулся. А может, и зря говорят. Прошли мы, целы остались, рад человек...

— А бывает?..

— Всяко бывает. Название такое не зря дадено. Почему Пьяный бык? Это уже на моей памяти было. Однако, в тот самый год, как турецкая война началась... Везли на Витим на золотые прииски хлебного вина целую связку. Известно, на приисках вино завсегда первый товар. Ну и, значит, или лоцмана к вину приложились, или так уж тому быть положено, а только ударило о камень, разбило всю связку, и всем конец. Вот с тех пор и Пьяный бык...

А как миновали Киренск — занятный городок на островке при впадении Киренги в Лену, так вскоре вырвалась река на простор. Долина раздвинулась, стерегущие ее горы отступили вспять, и сама река разлилась широкими и привольными плесами, так что с середины ее до берега едва глазом достать. Теперь уж вовсе неприметно стало, то ли плывут карбаза, то ли вовсе застыли на месте.

Вот тут, не осилив и недели такого плавания, Катя и заскучала и стала томиться.

— Хоть бы лодку дали. Села бы и уплыла в этот пропавший Олекминск!

— До Олекмы еще плыть да плыть, молодуха,— урезонивал ее лоцман.— На лодке в такую даль не добе-

жишь. А ну как еще ветер колыхнет. На таком плесе волна, что на море.

А Михаила нисколько не угнетало неторопливое движение карбазов. И если бы сказали ему, что осталось плыть не две недели, а два месяца, или дважды два, он бы нимало не огорчился. Хоть до самых заморозков. Катя просто смешна в своем нетерпении. Олекминск, Олекминск! Кто знает, что их ждет в этом Олекминске? Какой достанется пристав? И какой достанется урядник? А здесь они, по сути дела, вольные люди. Такого простора, такого приволья никогда не доводилось ему ощущать. Никогда еще не чувствовал он себя так близко к природе. Разве что в далеком детстве, когда отправлялись ребячьей командой на рыбалку, проплывая загадочную и немного страшную Собачью щель, или на дядиной мельнице, поставленной на степной речушке с ласковым названием Тихая Сосна в непостижимо далеком отсюда Бирюченском уезде...

Особенно полюбились ему светлые лунные ночи, когда стихало все и на реке и на берегах и карбаза бесшумно скользили по воде, подминая под себя опрокинутые в реку звезды.

В эти часы хорошо и успешно думалось. Именно там, на ночной реке, под шатром звездного неба, покончил он со всеми своими сомнениями, покончил, не просто бесшабашно отбросив их, а вел неспешный и обстоятельный спор с самим собой, с пристрастием разбирал каждое выставленное возражение и, только найдя ему вполне обоснованное, безупречно доказательное опровержение, отодвигал его в сторону.

Труднее всего было поступиться памятью дорогих ему людей, озарявших с юности его путь. Андрей Желябов, Софья Перовская, Александр Ульянов... Правда, люди близкие ему по общерабочему делу, чтили их память. В Манифесте они были названы «славными дея-



телями старой «Народной воли»... Перед их мужеством, самоотверженностью и преданностью делу народа склоняли головы и все те, кто шел в борьбе против самодержавия своим, отличным от них путем...

И, вспоминая свой спор с оставшимся в Верхоленске Андреем Лежавой и поистине мудрые слова о том, что смерть на баррикаде не менее почетна, чем смерть на плахе или виселице,— он уже не сомневался, что светочи его юности, доживи они до наших дней, были бы в одном с ним строю!

И когда утвердился в понимании этой открывшейся ему истины, то на душе стало светло и спокойно. Кончился период тревожных раздумий и колебаний, мучительных поисков своего дальнейшего пути. Теперь все это позади, а предстоящие ему годы ссылки он сумеет превратить в годы учения. Ему это нужно, как никому. Он ведь не столько разумом, сколько сердцем пришел к новой своей вере, к марксизму. Он мало знает, он много потерял, сильно отстал за годы, вырванные тюрьмой. Потерянное надо наверстать.

Потом, значительно позднее, вспоминая свой путь в сибирскую ссылку, он найдет очень точные и емкие слова, сказав, что именно в эти дни «вновь переживал ту светлую пору молодости, когда умственный горизонт с каждым днем расширяется и сознание своих сил возрастает, наполняя человека какой-то особенной бодростью, которую редко кому удается узнать более одного раза в жизни».

Решение уехать, как только закончится срок ее ссылки, сложилось у Кати как-то внезапно и для него неожиданно. Они, правда, никогда не обсуждали этого вопроса, но всегда как-то само собою подразумевалось, что приехали вместе, вместе и уедут.

Первое время вынашивали мысль о побеге — но и бежать тоже вместе — и даже накопили какую-то толику денег, без которых в дальнюю дорогу не тронешься.

Может быть, и удалось бы. Готовились серьезно. Завели знакомство с местными рыбаками, охотниками, ямщиками, «гоняющими» почту. И, что особенно важно было, завязали дружеские отношения со ссыльными скопцами, поселение которых располагалось неподалеку от Олекминска.

Как-то так получилось, что изо всех политических скопцы выделяли его и относились к нему с особым уважением и доверием. Может быть, потому, что относился он к ним сочувственно, но без обидной снисходительности, а также и без той неоправданной и обидной брезгливости, которую проявляли многие из его товарищей по ссылке. Скопцы сами предлагали, что, если надо будет, выведут из города и спрячут в тайге так, что никакой пристав со всеми своими урядниками не сыщет. И проведут горными тропами через перевалы к рекам, текущим в Байкал. А там уже место жилое, от Байкала рукой подать до Иркутска, до железной дороги. Может быть, и удалось бы...

Но судьба распорядилась иначе.

В конце лета тысяча восемьсот девяносто девятого года прибыло пополнение в колонию ссыльных. В числе прочих — Станислав Трусевич, один из руководителей социал-демократической организации «Рабочий союз Литвы».

Михаил быстро сошелся с Трусевичем. Ему тогда очень нужен был такой человек, чтобы утвердиться в новых своих политических воззрениях. А Трусевич был убежденным марксистом, партийным вожаком, человеком дела, истинным профессиональным революционером. Трусевич тоже проникся к нему доверием и симпатией. И вскоре признался ему, что к зиме должен быть в Рос-

сии. «Рабочий союз» готовил забастовку на виленских и ковенских заводах, а теперь стачечный комитет оказался обезглавленным. Словом, этого требовали интересы партии.

Дело прошлое, и перед собою душой кривить нечего — он колебался всего несколько минут. Отдал Трусевичу скопленные деньги и свел его со скопцами. Побег прошел удачно, но собственное освобождение отодвинулось на неопределенно долгий срок.

Катя и обиделась, и рассердилась.

— У тебя мания самоуничтожения,— сказала она ему в ответ на его доводы.

И как он ни пытался убедить ее в совершенно очевидной для него истине, что польза, которую могут они принести делу партии, несоизмерима с пользою, которую принесет такой опытный и закаленный боец, как Станислав Трусевич, Катя жестко стояла на своем:

— Все мы бойцы одной рати, и, стало быть, все равны!

Когда же он попробовал возразить, сказала, что он никудышный марксист, так как своими действиями убедительно доказал неистребимую свою приверженность к сугубо народнической теории героя и толпы.

Только один раз он видел ее такою разгневанной,— это еще в Питере, до их ареста, когда она собиралась подорвать Аничков дворец, а он отнесся к этому скептически, и она в яростной запальчивости обвинила его в трусости. Но тогда они быстро помирились, а на этот раз он не стал, как обычно, уступать, и хотя через несколько дней восстановились достаточно ровные взаимоотношения, все же трещина осталась, и трещина достаточно глубокая.

Может быть, не будь этой трещины, Катя бы и не уехала. Кто знает?

Она вернулась от пристава возбужденной и сразу

же — видно, обдумала все по дороге — сказала, что через две недели уезжает.

Он хотел ей сказать, что хотя бы из простой вежливости, если уж не говорить о товарищеской солидарности, могла она спросить его совета или, на худой конец, хотя бы просто поинтересоваться его мнением, но вовремя понял, что слова его повиснут в воздухе. Если разобраться, то какой ей смысл оставаться здесь еще на два года? Он не больной, не увечный, и если смог прожить пять лет в одиночном заключении, то тут, среди людей, близких по духу и сердечно к нему расположенных, прожить два года и вовсе не трудно. И то, что она рвется к делу,— а уж он-то, как никто другой, знает, что сложа руки она и дня не просидит,— вполне можно было понять.

И он сказал ей:

— Я думаю, что ты решила правильно.

Сказал вполне искренне, так он и думал, но когда Катя уехала, почувствовал неуютную, тоскливую пустоту.

Даже сидя в тюремной одиночке, такой не испытывал. Даже когда сидел в Петропавловке и не знал, чем вообще все может кончиться, где-то подспудно жила вера в то, что рано или поздно они встретятся и пойдут по нелегкому своему пути рука об руку. Теперь такой веры не было. И нельзя было подыскать этому разумное объяснение.

Что такое два года? Не длиннее же они тех пяти... Не в сроках суть.

Но, конечно, если бы сыскался такой провидец и сказал ему тогда, что всего еще один раз в жизни суждено ему встретиться с Катей, не поверил бы. А если услышал бы, что встреча эта будет встречею не близких людей, не единомышленников, не друзей, а скорее противников, даже врагов, то оскорбился бы до глубины души, и несу-

разно дикими показались бы подобные предсказания. И не только дикими, но и позорящими их обоих.

Но вот ведь почувствовал пустоту...

Наверное, потому так и потянулись они с Марией друг к другу, что обоим им в ту пору было тоскливо и неуютно. Хотя и он и она то, что было у каждого на душе, скрывали тщательно и умело. Так что тут надо было почувствовать, а такая душевная проницательность не каждому дана, да одной проницательности тут и недостаточно, тут надо, чтобы у обоих душевный настрой был на одну волну.

Сколько еще политических прибыли в Олекминск вместе с Марией, ему теперь и не вспомнить. Кажется, четверо: во всяком случае, четверых он хорошо помнит — «муж с женой и будущие муж с женой» — сказала про них Мария.

На следующий день он повел «новоселов» на прогулку — знакомить с окрестностями. У него было доброе намерение показать им настоящую сибирскую тайгу, благо она подступала к городку почти вплотную. Но большинство из вновь прибывших были люди городского склада, привыкшие ходить по тротуарам или хотя бы по прибранным дорожкам городских парков. Продираться сквозь бурелом, подниматься в гору по замшелым камням и переходить ручьи по вертким, ненадежным мосткам из наспех брошенных поперек жердей им было невмоготу. И, едва углубившись в тайгу, все в один голос запросили пощады. Только Мария высказалась за то, чтобы продвинуться дальше,— ну хоть самую малость. Но на нее замахали руками. Вопрос был поставлен на голосование и решен в полном соответствии с принципами демократии.

— А я не хочу возвращаться, не хочу, не хочу, не

хочу! — запротестовала Мария и притворно захныкала, как раскапризничавшийся ребенок.

— Не плачь, милая девочка,— сказал он и, как маленькую, погладил по голове.— Утри свои слезки. Завтра я снова пойду на прогулку в дремучий лес и, если захочешь, возьму тебя с собой.

— Ура!!! — закричала Мария и захлопала в ладоши.

Такая вот непринужденность установилась между ними с первых дней. Ему это казалось вполне естественным; с высоты своих почти сорока лет он взирал на нее, как на ребенка.

Увидев ее в первый раз, когда она осторожно сходила с карбаза по узкой плахе на песчаный берег, он подумал с горечью на душе, что уже детей начали ссылать, этой светловолосой наверняка не больше восемнадцати, хотя выглядит сейчас она гораздо старше, что и не удивительно — такая дорога хоть кого вымотает.

Но недели через две во время очередной дальней прогулки она рассказала ему один эпизод своей нелегальной работы в Одессе, когда только счастливая случайность спасла ее от, казалось, неминуемого ареста, и добавила, смеясь, что была тогда молода и неопытна, ведь было это не то в девяносто втором, не то в девяносто третьем году,— ему показалось, что он ослышался. Переспросил:

— В каком, вы сказали, году?

— В девяносто втором или девяносто третьем... наверно все-таки в девяносто втором.

— Но позвольте...— изумился он.— Вы же тогда были ребенком!

Она как-то смешно помотала головой:

— Не совсем...

— Не мистифицируйте меня! — взмолился он.— И извините дерзость вопроса. Сколько же вам лет?

— Увы! — сказала она.— Скоро двадцать девять.

— Не может быть!

Наверно, вид у него был достаточно обескураженный, если не сказать глупый, потому что она расхохоталась и, уже дурачась, сказала:

— Почему не может быть? По-вашему, мне не суждено прожить недостающие пока три месяца!

Нет, лучше бы ему не заводить этого разговора...

— Вот видите, Михаил Степанович,— сказала она,— вы меня за ребенка приняли, а я вас едва ли не за почтенного старца, а как выяснилось, мы с вами почти ровесники.

И метнула на него довольно-таки лукавый взгляд.

— Ну, это уж вы чересчур...— пробормотал он, окончательно смутясь.

— Что чересчур? Нимало! Я ведь все про вас знаю, Михаил Степанович, всю вашу подноготную,— продолжала она,— вам всего-навсего тридцать семь, возраст для мужчины вовсе не солидный, так что не очень-то заноситесь...

Никогда ему не забыть этих прогулок по расцвеченной осенним нарядом тайге. Неизменно зеленели сосны, ели и пихты, но уже оделись в бронзовый убор могучие лиственницы. На опушках багровыми пятнами выделялись осинники, и радовало глаз звонкое золото берез.

Он пристрастил ее к грибной охоте, и домой возвращались с полными лукошками толстоногих красноголовых подосиновиков, ломких, разноцветных сыроежек и мохнатых груздей. А как-то набрали в молодом сосняке сизовато-оранжевых рыжиков. Наполнили лукошки с верхом, развели костер, и он угощал ее присоленными и пропеченными на горячих углях хрусткими грибками.

Возвращались из своих почти ежедневных странствий по лесным просторам усталые и счастливые, набродившись вволю по перелескам и опушкам, посидев у дым-

ного костра на лесной поляне, поделившись и своими воспоминаниями и своими замыслами на будущее, и с каждым днем становились все ближе и нужнее друг другу.

Мария любила петь. Песен она знала великое множество. Особенно волжских — она родилась и провела детские годы на Волге, в городе Самаре. У нее был высокий и чистый, от природы поставленный голос. Напевала она всегда как бы про себя, и ему казалось, что голос у нее приятный, но небольшой.

Но вот однажды, когда внезапно налетевший порыв ветра разметал пламя костра и прошумел по вершинам окрестных сосен, она встряхнула светлыми кудрями и в полный голос запела песню о гибели Ермака:

Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали...

И он поразился силе голоса, непонятно каким образом вместившегося в хрупком ее теле.

— У вас голос! — сказал он тогда ей с почтительным восхищением.— Вам в концертах петь...

— А вы знаете,— сказала она оживленно,— я один раз в жизни давала концерт. Не одна, правда, с братом, он у меня профессиональный певец. И знаете где? Ни за что не догадаетесь. В тюрьме. В Александровском централе.

И рассказала ему эту поразительную на первый взгляд, совершенно невероятную историю.

Мария, как и они с Катей в свое время, следовала в ссылку по этапу. Только ей больше досталось лиха. За нее некому было похлопотать в Омске, и она до самого Верхоленска кочевала в этапных партиях ссыльных от одной пересыльной тюрьмы до другой.

Когда добралась до Александровского централа, узнала, что в Иркутске, то есть совсем близко — что такое

по сибирским масштабам какая-то сотня верст! — гастролирует малороссийская труппа Садовского, в которой служил ее брат. Мария сумела известить его, и он приехал к ней в Александровский централ.

По счастью, начальник централа был на спектакле малороссийской труппы, пришел в восхищение от прекрасного голоса брата и теперь охотно разрешил ему, вопреки существующим правилам, провести с сестрою целый день.

— Мы не виделись с братом несколько лет,— пояснила Мария.— Можно понять, как обрадовались друг другу. Когда наговорились всласть, брат спросил, не бросила ли я петь? Мы ведь вместе с ним хотели учиться пению. Только он начал учиться и стал артистом, а я... нашла себе другое дело. Я сказала брату, что и теперь при случае рада спеть хорошую песню, и предложила: давай споем вместе, но сначала спой один, ведь ты артист!

День этот стал праздником для всех заключенных Александровского централа. Окна всех камер были открыты, и могучий бас певца гремел во всех помещениях централа. Когда он спел арию Сусанина «Чуют правду...», заключенные бурно отблагодарили его аплодисментами, звоном кандалов, восторженными криками. Певец понял, что значит его песня для этих обездоленных, вырванных из жизни людей. И пел с таким вдохновением и подъемом, как, может быть, никогда...

Потом Мария запела волжскую, с детства родную песню, брат подхватил, и они спели несколько народных, в том числе и сибирских, песен.

— А когда я запела вот эту самую про Ермака «Ревела буря...», с нами вместе пела вся тюрьма,— закончила свой рассказ Мария.— Весь Александровский централ. Вечером брат уехал. Начальник централа усадил его в тарантас, а потом сказал мне: «И у вас голос хоть

куда, не здесь вам место...» На что я ответила ему: «Вот свергнем самодержавие, и я запою...»

Он часто просил ее, чтобы спела ему про Ермака. Теперь за этой песней и для него стояло так много...

Даже суровая якутская зима не отвадила их от походов в тайгу. Ходили уже не вдвоем, а большой компанией — зимняя тайга не место для одиночных прогулок.

Как-то не то под Рождество, не то под Новый год выбрались в тайгу ночью, разожгли на поляне костер, пели, плясали и дурачились, как расшалившиеся дети.

— Ты в этой огромной мохнатой дохе и высокой шапке точь-в-точь как дед-мороз,— сказала она ему. Они давно уже были на «ты».

— Тебя назначаю Снегурочкой,— ответил он, взял ее в охапку и закружил вокруг костра.

Они стали очень дружны. Особенно скрепляло их дружбу полное и ни разу не нарушенное согласие в мыслях. В длинные зимние вечера часто собирались группами и в тусклом свете свечи или плошки с чадящим рыбьим жиром часами спорили на всевозможные темы — чаще всего о путях русской революции.

Он решительно отстаивал позиции Манифеста Социал-демократической рабочей партии. Народники — а они среди олекминских политических были в заметном большинстве — яростно нападали на него. К тому же часть ссыльных, числящих себя марксистами, сдвинулась резко вправо, на позиции «легальных марксистов».

Запомнилось, как один из его рьяных оппонентов, убежденный сторонник Петра Струве и Туган-Барановского, попытался высмеять его:

— Незадачливый вы человек, Михаил Степанович! Вечно опаздываете: во время расцвета марксизма держались за ветхое знамя «Народной воли» и признали марксизм, когда он уже отжил свой век.

— Революционный марксизм отжил свой век только

в головах буржуазно-либеральных интеллигентов, подобных вам,— ответил он тогда поклоннику Струве и Туган-Барановского.— Но в этом нет никакой беды для марксизма. Ибо революционный марксизм всегда возлагал свои надежды на передовых рабочих, а не на отсталых интеллигентов.

Мария во всех этих спорах горячо поддерживала его. У нее было огромное преимущество перед большинством ссыльных, она позднее попала за тюремную решетку и, самое главное, до своего ареста на протяжении многих лет вела работу в кружках одесских моряков, екатеринославских металлистов, киевских железнодорожников. Она знала жизнь рабочих, располагала свежими живыми фактами и умела рассказать о них достаточно убедительно.

Она же первая поддержала Михаила, когда он предложил заняться изучением философии. Теперь уже трудно вспомнить, почему именно, но решили начать с «Критики практического разума» Иммануила Канта.

Дело прошлое, надо признаться, что не с той книги начали. Подняться до кантовских «глубин» многим из них оказалось не под силу. Читать было трудно и скучно. Отпугивало обилие специальных терминов. Путали «грансцендентальный» с «трансцендентным»; спотыкались о «предикат», «субстрат» и «объект».

Когда у всех зарябило в глазах, он сказал, что для пользы дела напишет стихотворение, в котором все эти хитрые слова найдут себе достойное место.

— Какое стихотворение? — спросила она.

— Ода, посвященная тебе,— ответил он.

— Почему мне, а не всем страдальцам, захлебнувшимся философской премудростью? — возразила она.

— Вот именно, почему же ей одной? Не по совести,— возмутились остальные «философы».

Но он не принял их возражений.

— Ода посвящается единственной женщине, осмелившейся погрузиться в философские глубины.

И он написал тогда стихотворение.

Можно только подивиться, каким образом уцелело это стихотворение в его бумагах за все годы скитаний и странствий по белу свету, и всего несколько дней назад, едва ли не накануне взрыва, он на него наткнулся, разбирая какие-то давние записи.

Он хорошо помнит, как прочел ей это дурашливое стихотворение:

«Как объект», «эстетична», «прекрасна»,
Несомненнейший твой «предикат»,
Даже в день «акциденций» ненастный
Посетить тебя буду я рад.
　　Чтоб о вечных вопросах серьезно,
　　Дискуссируя точно Сократ,
　　Думать: платье твое грациозно,
　　Но еще грациозней «субстрат».
Пусть душа твоя «не трансцендентна»,
Что подумаешь — знаем тотчас,
Так скажи,— отчего незаметно
Ты с ума посводила всех нас?
　　Оттого ли, что «аподиктично»
　　Увлекаться тобой без ума,
　　Оттого ли, что «проблематична»
　　Мысль, что можешь увлечься сама?
Оттого ли, что, всех увлекая,
Ты чаруешь, сама не любя,
Или просто уж «трансцендентальна»
Эта форма познанья тебя?

И он хорошо помнит, как весело она смеялась, слушая эту «философическую оду».

Он даже не удивился, когда она завела речь о побеге. Не могла же она с ее неукротимой энергией, жизнерадостностью, жаждой деятельности замуровать себя здесь на бесконечно долгие пять лет.

Своей энергией Мария напоминала Катю. Но была между ними и существенная разница. Катя была похожа на стремительный горный ручей, яростно бросающийся из стороны в сторону, расшвыривая камни, преграждающие ему путь, неудержимый в своем стремлении вырваться из сдавивших его каменных стен. Мария не уступала ей в стремительности, но это была стремительность стрелы в полете, стрелы, пущенной сильною рукой и точно летящей в цель.

Он понимал, что ей надо бежать. Понимал, что она не хочет, не может, не в силах вырвать себя на пять лет из большой жизни, отзвуки которой долетали даже сюда, за тридевять земель. Она не может жить без живого дела!

У нее неизмеримо больше энергии, чем у него, но у нее нет той приспособленности, может быть, живучести, которая оказалась в нем.

Он и здесь сумел найти себе дело по сердцу и по силам. Первую корреспонденцию в иркутскую газету «Восточное обозрение» послал, можно сказать, наудачу. Напечатали. После этого он печатался в «Восточном обозрении» все пять лет олекминской ссылки. Писал корреспонденции, статьи публицистические и литературно-критические, даже стихи.

По поводу стихов товарищи подшучивали. Кто-то даже эпиграмму сочинил:

Вот олекминский политик,
Публицист, поэт и критик,
В «Водосточном» он строчит...

Подписывал свои сочинения псевдонимами Степаныч, Дятлов и другими; потом все чаще — Ольминский, слегка измененное олекминский. Тогда и не подозревал, что этому псевдониму суждено стать второй его фамилией...

А у Марии не было даже такого дела. Разве мог он

возразить, когда заговорила она о побеге? Только опять стало пусто и неуютно на душе. Она предложила бежать вместе. Но сразу же, не дав ему ответить, возразила самой себе:

— Неразумно. Более того, бессмысленно. Тебе осталось несколько месяцев. Нет смысла рисковать.

И закончила, как о решенном:

— Ты поможешь бежать мне. А встретимся уже там,— она простерла вперед руки и зажмурилась,— когда ты выйдешь на волю.

Он сделал все, что мог. Не он один. Почти вся колония включилась в подготовку к ее побегу. Марию все любили и искренне желали ей успеха. Это был самый, может быть, умело организованный побег за все время якутской ссылки.

К тому же, старались не только ее товарищи. И сама судьба благоволила Марии. Самым сложным делом было раздобыть подходящий паспорт. Бежать без надежного паспорта было затеей, явно обреченной на неудачу.

Марии удивительно повезло.

В Олекминске появилась молодая монахиня, ходившая из селения в селение и собиравшая доброхотные подаяния на построение храма божьего. Монахиня была одних примерно лет с Марией и очень похожа на нее. Он помнит, как поразило его это сходство, когда он впервые увидел молодую черницу в монашеской рясе, с монастырской кружкой.

Старательная монахиня давно уже обошла все дома и домишки небольшого городка, но что-то зажилась в Олекминске. Как оказалось, не без причины. Она влюбилась в одного из политических. И ему пришлась по душе. И он убедил ее оставить монашество для более радостной мирской жизни. Так она и поступила. А свой паспорт и монашескую рясу передала Марии.

За два дня до побега Мария якобы заболела горяч-

кой и металась в бреду, о чем доложено было приставу.

Ямщику, «гонявшему» почту на перекладных от Олекминска до Нахтуйска, хорошо заплатили за то, чтобы он не заметил подмену саней. Сани по виду и впрямь ничем не отличались от его саней. Вся и разница, что у подменных саней было двойное дно. Михаил сам укладывал ее в этот импровизированный гроб. Закутал в загодя приобретенную у скопцов огромную оленью доху — морозы еще держались крепко,— попрощался и собрался уже прикрыть верхним днищем и застлать соломой, но заметил, что на голове у нее легонький полушалок. Сорвал с себя малахай, приладил ей на голову под зорот дохи, еще раз заглянул ей в глаза, и тут силы оставили его... и слеза, может быть не одна упала ей на щеку.

— Если бы ты знал, как мне дорога эта твоя слеза...— сказала она ему.

А если бы она знала, как ему были дороги эти последние сказанные ею слова...

Сани с двойным дном выехали с ямской станции города Олекминска спозаранку, еще до света,— путь до Нахтуйска неблизкий, и одним политическим ссыльным в мирно спящем городке стало меньше.

А у другого политического легло на сердце великое смятение. Он не знал, радоваться ему или печалиться. Нет, он знал, что надо радоваться, и он радовался... Но к радости этой примешивалась грусть, и бывали такие минуты, что грусть захлестывала... Отвлекали, слава богу, размышления и тревоги: как минует тысячи верст обширной российской территории, как доберется до границы? Успокаивал себя тем, что до Нахтуйска, считай, уже добралась. А от Нахтуйска много проще и легче, там поедет, не таясь попутчиков, не скрываясь от властей, поедет по настоящему паспорту.

Надо было принять меры, чтобы весть о побеге не пустилась за ней вдогонку как можно дольше, чтобы она

успела перебраться через границу. Все ее товарищи хорошо позаботились об этом.

Несколько дней подряд исправнику докладывали, что политическая ссыльная Мария Эссен в жестокой горячке и не приходит в себя. Приняты были все меры предосторожности. В прихожей дома, где она квартировала, висела ее шуба и стояли валенки. Это для женщины, которая приходила убираться и стирать белье. В комнату к тяжелобольной ее не пускали, а белье выносили сильно измятое и испачканное. Известно, больная в горячке, не может себя соблюсти.

Потом до того вошли в роли разыгрываемого спектакля, что решились показать «больную» самому исправнику.

Распустили слух, что ей полегче, и под вечер — в сумерки все-таки надежнее — вышли всей ссыльной компанией на прогулку по обычному маршруту, мимо дома исправника.

Шубу Марии надела на себя бывшая монахиня, он взял ее под руку и несколько раз прошли мимо исправничьих окон, и каждый раз, когда навстречу попадался урядник или городовой, монахиню называли «Машей».

Два дня так прогуливалась «больная», а на третий ей снова стало плохо. Видать, не побереглась, рано выскочила на мороз... Словом, у нее опять началась горячка. И в следующую ночь, уже под утро, к исправнику прибежали две взволнованные до крайности женщины, проживавшие в одном доме с Марией, и сообщили, что больная, видимо в горячечном бреду, выскочила из дома и, похоже, убежала в лес.

Потом ему рассказали, как изумился исправник. Да и было от чего. Всего два дня назад своими глазами видел, как прогуливается с кавалером под ручку, и вот, пожалуйте вам, убежала в лес!

Как назло, разыгралась злая февральская пурга.

Исправник, сочно чертыхнувшись, приказал женщинам отправляться по домам, сказав, что утром разберется.

— Замерзнет! Спасать надо! — настаивали женщины.

И подняли такой крик, что исправник послал за урядником и приказал тому пойти за беглянкой по следу.

Далеко ли ходил урядник, осталось неизвестным, но никого не нашел. Политическая ссыльная Мария Эссен, двадцати девяти лет, исчезла бесследно.

Не сыскалось ее следа и после того, как стаяли снега, и олекминский исправник долго еще писал якутскому и иркутскому начальству рапорты и объяснительные записки.

Встретился Михаил Степанович с ней, что называется, нежданно-негаданно (он уверен был, что Мария за границей) — в родном городе Воронеже, куда приехал из ссылки, чтобы оглядеться, отдышаться и набраться сил перед новым поворотом жизни. В Воронеже теперь служил брат Николай, с ним же жила семья вернувшейся из верхоленской ссылки сестры Людмилы.

Еще в пути он узнал о состоявшемся Втором съезде Российской социал-демократической рабочей партии и о расколе партии. Он помнит, как огорчило его известие о расколе. Он считал, что нельзя перед лицом могущественного врага распылять свои силы...

От сестры узнал, что в городе на нелегальном положении находятся два члена ЦК РСДРП. Она же назвала и фамилию одного из них: Землячка Розалия Самойловна. Сумел быстро связаться с ней и, заручившись согласием на встречу, отправился по указанному адресу.

Прошло с тех пор больше пятнадцати лет. И каких лет! Но никогда не забыть ему этой встречи.

Когда его провели в комнату, где сидели две женщины, и когда он увидел, что одна из них Мария Эссен, то просто остолбенел. Мария кинулась обнимать его. А вторая женщина, похожая на учительницу гимназии,— это

была Розалия Самойловна — смотрела с явным неодобрением на чрезмерно экспансивную выходку своего товарища по ЦК.

Он, конечно, уверен был, что теперь у них найдется время для того, чтобы встретиться, и этот первый вечер отдал встрече с двумя членами ЦК. С предельным пристрастием допрашивал он обеих о причинах раскола, требовал, чтобы подробнейшим образом разъяснили ему позиции сторон по каждому пункту разногласий.

Ему отвечали подробно, обстоятельно и откровенно, ничего от него не скрывая. Но так как он не мог согласиться с целесообразностью столь резкого размежевания и потому никак не мог принять раскола, все их рассказы показались ему неубедительными. И в конце концов заявил им, что пришел к твердому решению немедленно ехать за границу, чтобы самому на месте окончательно разобраться в разногласиях между большевиками и меньшевиками.

Беседа затянулась за полночь. Когда она наконец завершилась, он попросил у Марии разрешения довести ее до дому, совсем не представляя, что ему придется услышать в ответ.

— Правил конспирации я не забыл,— добавил он, улыбаясь.— Так что можешь довериться мне.

— Охотно,— сказала она и засмеялась,— тем более, что идти нам, если я не ошибаюсь, в один и тот же дом.

— В один и тот же дом?

— Я остановилась в доме твоего брата Николая.

У него машинально вырвался совсем уж глупый вопрос:

— Почему?

— Потому что у него в доме живет Андрей Матвеевич Лежава. А с ним я связана по работе.

— А Людмила?

— Что Людмила?

— Почему она не сказала мне? Она знала, что я ищу встречи с членами ЦК.

— Людмила не знает, что я член ЦК.

Считанные минуты удалось им тогда провести вместе. В ту же ночь Мария выезжала куда-то по срочному заданию ЦК, кажется, в Саратов... Да, именно в Саратов, он же проводил ее до пересадки на станции Козлов.

Еще была мимолетная встреча в Париже. Такая же — через год в Петербурге. Тогда еще чуть не арестовали на ее квартире. И никогда не было времени, чтобы отвлечься от неотложных дел, от событий, которые все время захлестывали, и просто побыть вдвоем, побыть друг с другом...

И даже теперь, когда нелегальная жизнь позади, когда, казалось бы, можно как-то распорядиться своим временем, все равно нет этого времени, нет того часа и нет такого места, чтобы встретиться со старым другом, вспомнить пережитое.

Он — в Москве, она — где-то на Кавказе. Хорошо, что хоть весточка дошла...

* * *

Вчера в первый раз разрешили выйти погулять. Врач, до этого не выпускавший даже в коридор, внял его мольбам. Может быть, и не внял бы, но после слякотной и холодной сентябрьской непогоды с начала октября в Москву вернулась золотая осень, и на улице было теплее, чем в выстуженных и отсыревших палатах. Но не в чем было выйти. От пиджака, бывшего на нем, остались одни лохмотья.

— Да, тебе досталось больше, чем твоему хозяину,— сказал Михаил Степанович, когда палатная нянечка принесла ему останки пиджака.

Пришлось звонить в комендатуру Кремля и просить, чтобы открыли его комнату и достали старый его пиджак, купленный, кажется, в Женеве и заношенный до блеска на локтях и дыр на подкладке.

Ноги еще плохо слушались его, но какое это имело значение, если на улице было так чудесно. Возвращался он в свою дежурку с большою неохотой. А встав сегодня утром и проверив крепость ног, пройдясь раза три из конца в конец дежурки, сказал себе решительно, что хватит с него этой больницы. И выйдя как бы на прогулку, отправился потихоньку прямо к себе на квартиру. Но и в квартире не усидел. Выпил чаю и поплелся в свой служебный кабинет. И тут ему сообщили страшную весть. За время его отсутствия из дворцовых палат вывезли два воза уникальной мебели. Как могло свершиться такое кощунство? Позвонил на пост в грузовых воротах. Там проверили корешки пропусков, подтвердили: да, действительно, вывезли два воза мебели, еще вчера утром.

Не менее часа провел Михаил Степанович за телефоном. Обзвонил десяток учреждений, но так и не смог выяснить дело до конца. Несколько ответственных товарищей оказались причастны к выдаче разрешения, но при этом одна инстанция ссылалась на другую и получался заколдованный круг. Зато ему удалось установить, куда же увезли стулья и диваны. Оказалось, на квартиру к одному ответственному работнику.

Михаил Степанович тут же позвонил высокопоставленному деятелю и очень вежливо сказал, что произошла ошибка, мебель музейная и, как таковая, находится в ведении Комиссариата имуществ республики и должна быть немедленно возвращена в Кремль.

Деятель сослался на то, что у него в доме бывают иностранцы, и не просто иностранцы, а магнаты капитала, и посему в его доме должна быть соответствующая

обстановка, ибо от обстановки этой в немалой степени зависит результат переговоров, имеющих важнейшее государственное значение. Михаил Степанович терпеливо выслушал его длинную тираду и сказал, что мебель надо возвращать. На это повторное требование концессионный деятель возразил, уже изрядно повысив тон, что вопрос согласован во всех инстанциях и возвращать мебель он не намерен.

Тогда Михаил Степанович сказал ему:

— Если к концу дня мебель не будет возвращена, я доложу Владимиру Ильичу.

И положил трубку. Откинулся на спинку стула и подумал, что никак нельзя ему болеть, решительно нельзя.

То, о чем Михаил Степанович не вспомнил по скромности, присущей старым большевикам ...

Галерка

1

На обратный путь из Якутии в Россию ушло значительно меньше времени.

По Лене Михаил Степанович плыл на пароходе,— и на всю дорогу от Олекминска до Иркутска ушло не полгода с лишком, а всего две недели.

В Иркутске тоже не стал особенно задерживаться. Забежал лишь в редакцию «Восточного обозрения». Забежал, как к своим, хотя и в глаза никого из сотрудников газеты не видывал, но за годы, проведенные в Олекминске, со многими заочно сдружился, а с некоторыми переписывался.

Встретили его душевно, пригрели и обласкали. А главное, просветили важными новостями. Тут Михаил Степанович впервые обстоятельно узнал о той борьбе, которая развернулась на II съезде РСДРП между большевиками и меньшевиками (не сразу привык к этим словам, первое время казались ему какими-то неуклюжими), и о том расколе, который произошел.

Оказалось также, что причитается Ольминскому, Витимскому, Степанычу и Дятлову (это все псевдонимы, коими подписывал свои статьи, критические обзоры и стихи в «Восточном обозрении» Михаил Степанович) кое-какой гонорар за последние отправленные из Олекминска материалы. Гонорар невелик, но пришелся очень кстати: теперь вполне достанет средств, чтобы добраться до Воронежа, а там брат поможет.

Но главное, конечно, не в гонораре, а в радушном приеме и откровенном душевном разговоре, который так нужен был его изголодавшейся душе.

— Я уехал на север в девятнадцатом веке,— с улыбкой говорил Михаил Степанович,— и пребывал там в девятнадцатом, а вот теперь, послушав вас, оказался в двадцатом.

Все понимали, что дело тут не в календаре, а в тех значительных общественных сдвигах, которые произошли за пять лет, проведенных им в ссылке.

То, чего не удалось достигнуть на первом съезде, достигнуто на втором. Создана партия рабочего класса. Настоящая партия! С программой, уставом, выборными руководящими центрами! Вспоминал свою работу в кружках на Выборгской стороне, когда подбирался к главному — подъему революционного самосознания рабочего люда — наугад, словно ощупью... Что ж, работа эта не пропала даром. В том значительном, что достигнуто, есть частица, пусть самая крохотная, и его труда...

Но вот раскол? Не только принять, но и понять невозможно! Только что закончился съезд, и сразу раскол. Неужели на съезде не могли договориться?

Вспоминал, как упорно, даже ожесточенно спорили тогда на собрании центрального рабочего кружка. Тоже ведь ни до чего не доспорились и остались каждый при своем. Но там столкнулись деятели разных убеждений: марксисты и народники. И, понятно, договориться не могли. Но тут-то вроде бы единомышленники. На единой программе сошлись, на уставе сошлись... Не сразу, правда. Если все было так, как рассказывают, то спорили до взаимного ожесточения, но все же доспорились до единого мнения. И выборы провели.

И вот после всего этого — раскол. И даже понять невозможно, кто виноват в этом расколе. Отсюда не понять. Объясняют по-разному. Но все с чужих слов... Нет, надо ехать за границу, поговорить с живыми людьми — с теми, кто был на съезде, притом с теми, которые теперь большевики, и с теми, которые теперь меньшевики. Выслушать доводы всех и разобраться самому. Определить для себя, с кем правда, и быстрее, как можно быстрее включаться в работу. И так почти десять лет вычеркнуто из жизни...

На долгом пути от Иркутска до Воронежа были еще встречи с осведомленными в партийных делах людьми. В Омске Михаил Степанович встретился со старыми товарищами, пять лет назад провожавшими его в ссылку. Проспорили весь вечер и половину ночи. То есть спорили они между собой, а он слушал. Слушал внимательно, стараясь вникнуть в самую суть разногласий.

Сторонники Ленина обвиняли в расколе Мартова и его друзей, получивших прозвище меньшевиков. Мартовцы не могли смириться с тем, что Ленину удалось создать спаянную едиными взглядами и скрепленную сознательной дисциплиной партию рабочего класса. Партийной

дисциплины они страшились. Им по душе была индивидуальная самостоятельность. Они никак не могли взять в толк, что без железной дисциплины партия не сможет стать действительным вождем революции.

Сторонники Мартова во всех послесъездовских бедах обвиняли Ленина. Дескать, он, именно он и наиболее ретивые его последователи своей чрезмерной ортодоксальностью, своей бестактностью и грубостью, своим нежеланием прислушаться к оппонентам, своим пренебрежением к мнению старейших и заслуженных русских марксистов (кивок в сторону Плеханова, Мартова, Веры Засулич, Аксельрода), своими диктаторскими замашками, наконец, разрушают с таким трудом созданное светлое здание российской марксистской партии.

Каждый из спорящих был убежден в своей правоте. Достаточно было взглянуть в лицо любому из них, чтобы удостовериться в этом. Даже тени сомнения в их искренности и тем более в их преданности делу революции не могло возникнуть у Михаила Степановича, старавшегося не пропустить ни слова из услышанных им горячих, взволнованных речей. Но и эти речи также все были с чужих слов. Ни один из пламенных ораторов ни на Втором съезде, в Брюсселе и Лондоне, ни в послесъездовской Женеве не бывал.

Окончательно Михаил Степанович решил ехать в Женеву после того, как в Воронеже в первый же вечер по приезде встретился с членами большевистского ЦК (кооптированными в состав Центрального Комитета уже после съезда) Розалией Самойловной Землячкой и Марией Эссен.

Розалия Самойловна присутствовала на съезде. Она избиралась делегатом от организации «Искры» и на съезде была в числе искровского большинства, получившего название «твердых» искровцев. И, конечно, она рассказала Михаилу Степановичу о внутрипартийной борьбе на

съезде, обо всех нюансах разногласий между разными группами делегатов. Столь же подробно и обстоятельно рассказала она о послесъездовской фазе борьбы. О том, как, уступив нажиму соратников по группе «Освобождение труда», Плеханов пошел на незаконную кооптацию (незаконную потому, что она противоречила ясно выраженной воле съезда) старых друзей в состав редакции Центрального органа.

О том, как Ленин вынужден был выйти из состава редакции и переключиться на работу в составе ЦК.

О том, как новая «Искра» повела ожесточенную борьбу против тех организационных и идейных принципов, за которые боролась старая «Искра».

— Но послушайте! — воскликнул Михаил Степанович.— Не подумайте только, ради бога, что я... вам не верю! Но если все обстоит так, как вы мне сейчас рассказали, то каждый мало-мальски разумный человек должен безоговорочно стать на позиции большевиков!

— Конечно,— ответила Розалия Самойловна.

— Почему же добрая половина женевских социал-демократов оказалась в меньшевиках?

— Сами удивляемся,— сказала Мария Эссен.

Но Михаил Степанович даже от нее не мог сейчас принять шутку.

Весть о создании революционной марксистской партии была для него личной радостью. Известие о расколе, грозившем партии гибелью,— личным горем. А горе шуткой не вылечишь и даже не облегчишь...

— А если серьезно,— сказала Мария,— то у меня сложилось твердое мнение: чем тот или иной партийный товарищ дальше от живого революционного дела, чем он дальше от рабочего люда, тем милее ему позиция меньшевиков. Не случайно в Заграничной лиге верховодят меньшевики. Это вполне понятно: много ли среди эмигрантов рабочих? Единицы. И они все с нами. Та же картина и

здесь, в России. Если в комитете нет рабочих, как, например, в Киевском комитете, то комитет за Мартова, а Ленина обвиняют во всех смертных грехах. Если же в комитете представлены рабочие, как в Екатеринославе, Туле, Одессе, то комитет безоговорочно за большевиков, за Ленина.

— Значит, и среди российских партийных комитетов нет единодушия?

— Я за эту осень объехала по заданию ЦК почти все крупные партийные комитеты,— сказала Мария.— И вот итог. Большинство полностью согласно с решениями съезда, признает избранные съездом центральные органы партии, одобряет принципиальную линию большевиков.

— Но опять же с чужих слов! — воскликнул Михаил Степанович.— В данном случае, с твоих. А у тебя и дар убеждения, и личное обаяние...

— На тебя, как я чувствую, ни то ни другое не действует,— уже с оттенком раздражения возразила Мария.

— Ты не должна обижаться на меня,— очень мягко и в то же время убежденно произнес Михаил Степанович.— Для меня, так же как и для тебя, самое дорогое в жизни — дело партии. Для победы этого дела не жаль и самой жизни. Да ты и сама это знаешь. Так вправе я понять и разобраться?

Мария не успела ответить. Розалия Самойловна, до того как бы передавшая слово Марии и молча слушавшая их беседу, взглянула поверх очков на Михаила Степановича и строгим тоном учительницы спросила:

— Екатерина Михайловна Александрова, по партийным документам Штейн, не в родстве с вами?

— Екатерина Михайловна моя жена,— ответил Михаил Степанович, несколько удивясь вопросу.

— Она находится сейчас за границей. Она сможет во всех подробностях ознакомить вас с доводами наших про-

тивников,— все тем же учительским тоном сообщила Розалия Самойловна и добавила еще суше: — Надеюсь, это поможет вам разобраться.

— Она примкнула к меньшевикам?

— А вы этого не знали? — ответила вопросом Розалия Самойловна.

— Я не знал, что Штейн — это она...

2

В ту же ночь Мария Эссен уезжала в Саратов.

— Не обижайся на меня. Отложить отъезд нельзя,— сказала она.— Прежняя явка провалена. Меня будут встречать на вокзале.

— Я провожу тебя,— сказал Михаил Степанович.— Куда же ты одна с двумя такими чемоданами.

— Мне радостно побыть с тобой, но стоит ли рисковать из-за какого-то часа,— предостерегала Мария.

— Почему часа? — возразил Михаил Степанович.— До Козлова поезд идет не меньше шести часов.

— Ты хочешь проводить меня до Козлова? — обрадовалась Мария.

— Я бы с великой радостью проводил тебя до Саратова, но понимаю, что там буду тебе помехой.

— Да,— с грустью согласилась Мария.— Меня ждут одну. И после пересадки в Козлове я должна ехать одна. Иначе могу спугнуть связного.

Билеты взяли в третий класс, чтобы меньше привлекать к себе внимания. Чемоданы не стали сдавать в багаж, взяли с собой в вагон.

— Там меня встретят,— сказала Мария,— а в Козлове ты поможешь.

— Нам повезло,— сказал Михаил Степанович, когда

они вошли в слабо освещенный тусклыми фонарями холодный вагон,— смотри, сколько свободных мест.

— В такую слякотную погоду да еще в ночь хороший хозяин собаку не выгонит,— сказала Мария и добавила с усмешкой: — Нет худа без добра. Меньше риска нарваться на филера. По моим наблюдениям, филеры не любят сырости и холода.

Облюбовали пустую лавку в дальнем безлюдном углу вагона. Здесь можно было разговаривать откровенно, не опасаясь чужих ушей.

— Опять мне досталось провожать тебя,— сказал он Марии.— Странные времена настали в мире. Женщина, хранительница домашнего очага, скитается по белу свету, а мужчина ее провожает. Тогда как все должно быть наоборот...

— Ты тоже у домашнего очага надолго не задержишься,— отшучивалась Мария.

— Где он, мой домашний очаг? — усмехнулся Михаил Степанович.— Только в детстве. Родительский дом. А как вылетел из родного гнезда, сколько себя помню, очага не было. Да вряд ли когда и будет...— задумчиво произнес он.

Тут же быстро встал с лавки, нагнулся к стоящим на полу чемоданам и проворно один за другим закинул их на верхнюю полку.

— Багажа у тебя, как... у оперной примадонны,— сказал он Марии.

Мария засмеялась.

— Ты мог бы выразиться порезче,— сказала она.— И был бы не далек от истины. Не смотри на меня круглыми глазами. Знаешь мою кличку?

— Подпольную? Вчера слышал от Розалии Самойловны. Все еще хотел спросить: почему Зверь?

— Нет, не партийную, а ихнюю,— Мария махнула рукой куда-то в сторону.— В охранке у меня кличка —

Шикарная. Понял? Впрочем, можешь и сам посмотреть, подходит ли мне.

Она развернула плечи так, что стала заметна ее высокая грудь, поправила шляпку, выпустив из-под нее пышный локон, слегка вскинула голову, улыбнулась чужой, никогда им не виданной, картинно обольстительной улыбкой... и на глазах у него преобразилась.

Перед ним сидела не Мария Эссен, верный товарищ по революционной борьбе, а одно из тех самых прелестных и, увы! — падших созданий.

— Ну, знаешь! — сказал ей Михаил Степанович и только руками развел.

— А как иначе? — сказала Мария.— Найди другую личину, под покровом которой можно объехать двадцать городов, да так, чтобы ни одного провала. Я, милый мой, выбрала самую надежную из всех. Эта профессия в нашем отечестве под надзором, но вне подозрений.

— Значит, в этих чемоданах...

— Наряды, соответствующие профессии. Я ведь не из дешевых, к которым каждый может прицепиться, а высшего полета. Словом, Шикарная. А в чемодане, который поменьше, два расхожих костюма: обычное старушечье одеяние — платок, кофта, юбка, стоптанные ботинки и второй — монашеская ряса. Та самая, помнишь? С тех пор с собой вожу. Не раз выручала.

Он смотрел на нее широко раскрытыми глазами.

Она усмехнулась:

— В Саратове я сойду с поезда такою, какой ты меня только что видел...

— Ты же сказала, тебя будут встречать?

— Обязательно. Меня встретит молодой щеголь в отличной тройке, сшитой по последней моде. Возьмет мой большой чемодан и сам отнесет его в пролетку с поднятым верхом. А я с другим чемоданом пройду в дамскую комнату. Минут через десять пролетка умчится с вок-

вальной площади. А из дамской комнаты выйдет маленькая сутулая старушка с невзрачным узлом в руках.

— Почему старушка?

— У меня в чемодане театральный грим. Пользоваться им я хорошо умею... Вот и все.

Михаил Степанович взял ее руку и молча поцеловал.

Какое-то время помолчали, потом разговор пошел о тех делах, о которых не успели договорить вечером.

Мария не только горячо одобрила его намерение ехать в Женеву, но и советовала не терять времени даром и не тянуть с отъездом за границу.

— Да, там я быстрее разберусь во всем,— согласился Михаил Степанович.

— Разобраться и здесь можно,— сказала Мария,— но дело в том, что *там*,— она подчеркнула это слово,— ты сейчас нужнее.

И пояснила:

— У тебя дар литератора. Не скромничай. Читала. А у нас сейчас, именно сейчас, литераторов не хватает. Нам сейчас каждое перо очень дорого.

Она говорила уверенно, у нее не было ни малейшего сомнения в том, кому будет служить его перо. Он подумал, что она уже разрешила за него все его тревоги. И — странное дело! — такой, пусть косвенно, но достаточно ясно высказанный нравственный диктат нисколько не обидел его, не задел никак его самолюбия.

Уже потом, значительно позднее, когда он, переболев всеми сомнениями, и умом и сердцем принял правду Ленина и его соратников и сам влился в их ряды именно как партийный литератор, не раз вспоминал он об этом разговоре в холодном, промозглом вагоне темной ноябрьской ночью на перегоне Воронеж — Козлов.

Вспоминал всегда с добрым чувством сердечной признательности Марии, понявшей сразу,— и даже раньше, нежели он сам! — чью правду он примет.

Во время этого же разговора узнал он от Марии, что Катя (по делегатским спискам съезда — Штейн) не просто примкнула к меньшевикам, а стала одним из самых ярых приверженцев Мартова.

— Странно, очень странно...— удивился Михаил Степанович.— Она по самому складу ее натуры всегда была сторонником крайних действий, и если и правы те, кто обвиняет большевиков и прежде всего Ленина в излишней резкости, то уж ее-то резкостью не испугаешь...

— Если эта резкость обращена на другого,— заметила Мария.

— Не понимаю,— чистосердечно признался Михаил Степанович.

— Резкость Ленина ей пришлось испытать на себе,— пояснила Мария.— Розалия Самойловна рассказывала мне о совещании делегатов-искровцев, на котором обсуждались кандидатуры в состав ЦК. В списке Мартова была кандидатура Штейн. И Мартов на этой кандидатуре очень настаивал. А Ленин возражал. И очень резко.

— Но ведь ее-то на этом совещании искровцев не было,— удивился Михаил Степанович.

— Не будь наивным,— усмехнулась Мария.— Конечно, она узнала о том, что говорилось на совещании, и узнала во всех подробностях.

— Но партийная этика...

— Какая уж там этика! — рассердилась Мария.— Твое ребяческое простодушие меня просто бесит. Мартовцы еще на съезде объявили борьбу ленинскому большинству. А в борьбе все средства хороши.

— Значит, ты думаешь, что ей стали известны возражения Ленина?

— Не думаю, а знаю.

«Тогда все понятно, и удивляться нечему»,— подумал Михаил Степанович.

Катя не из той породы, что подставляет вторую щеку.

Уж если против нее, да еще резко, то враг навек! Неясно пока лишь одно: оправдана ли была, точнее сказать, вызывалась ли необходимостью резкость по отношению к ней?

Но размышлять об этом сейчас бессмысленно. И допытываться у Марии тоже бессмысленно. Все, что знает Мария, знает тоже с чужих слов. Нет, разобраться во всем этом можно только в Женеве.

Искровцев на Втором съезде было шестнадцать человек. На съезде — об этом ему напоминала вчера Розалия Самойловна — они раскололись. За Лениным и Плехановым пошли семь человек: Крупская, Землячка, Книпович, Бауман, Ульянов Дмитрий, Красиков и Носков. К Мартову примкнули остальные шестеро: три члена «старой» редакции «Искры» — Аксельрод, Потресов и Засулич (впрочем, вот ведь «зигзаги истории» — теперь все они, вместе с Мартовым и Плехановым, члены «новой» редакции!) и еще трое: Дейч, Троцкий и Крохмаль. Так наметилось ядро «большинства» и ядро «меньшинства».

Еще на съезде то и другое ядро обросло новыми приверженцами. Причем эти, условно говоря, «новички» часто метались из стороны в сторону, переходили из одной группы в другую — этим и объяснялись многочисленные «зигзаги голосования» на съезде.

К концу съезда обе фракции пополнились женевскими и иными эмигрантами. Притом большая часть эмиграции влилась во фракцию меньшевиков, что и обеспечило этой фракции явный перевес в послесъездовской борьбе.

Во всяком случае, существование двух обособленных и противостоящих друг другу фракций — большевиков и меньшевиков — стало реальным фактом.

Представителя большевиков — авторитетного (был на съезде) и официального (член ЦК) — он слушал вчера. Теперь осталось выслушать противную сторону. И, конечно, выслушать Катю... И если ее теперешняя позиция

продиктована только личной обидой, то переубедить ее...

С какой стороны ни глянь, надо ехать в Женеву. Вот и Мария на этом же настаивает...

3

Очень трудно было выхлопотать заграничный паспорт, и Михаил Степанович начал уже подумывать о том, чтобы перейти границу нелегально.

Так бы, наверное, и поступил, но удерживало одно обстоятельство. Вполне возможно, что после того, как разберется и «определится» в Женеве, придется снова возвращаться в Россию с конкретным заданием, которое легче будет выполнить, не теряя оболочки легальности.

Власти не забыли крамольного прошлого бывшего прапорщика армии Михаила Степановича Александрова. И не торопились выпускать его за границу. Завязалась переписка воронежского жандармского управления с департаментом полиции. Доложено было петербургскому начальству о том, что надлежащим наблюдением установлено общение Александрова с «неблагонадежными в политическом отношении лицами из числа живущих в Воронеже». А шпики, неотступно следившие за Марией Эссен, донесли, что «Мих. Степ. Александров провожал ее на вокзал и в поезде до Козлова».

Из Петербурга последовало указание, и в ночь на 19 февраля в дом Александровых нагрянула полиция с обыском. В комнате, отведенной Михаилу Степановичу, перевернули, простукали и перелистали все, что можно было. Но ничего преступного, даже подозрительного, не нашли.

И в конце концов после продолжительных проволочек пришлось выдать Михаилу Степановичу Александрову просимый им заграничный паспорт.

В Женеву Михаил Степанович добрался только в марте 1904 года. Узнал, что Катя в Париже, и неизвестно, вернется ли в скором времени в Женеву и вернется ли вообще. По счастью, был у него еще адрес студента Первухина, старого знакомца по олекминской ссылке. Первухин и приютил его на первое время. К нему и обратился Михаил Степанович с вопросом: в чем причина разногласий и раскола?

— А сами вы, Михаил Степанович, как думаете? — ответил вопросом Первухин.

Михаил Степанович чистосердечно признался, что не сложилось еще у него своего твердого мнения и что для того он и приехал в Женеву, чтобы разобраться в этом очень для него важном вопросе.

— Вот поищу знакомых. Поговорю с ними, посоветуюсь. Послушаю, что скажут...

Первухин улыбнулся и сказал:

— Если так, то рискованный вы избрали способ. Это ведь как повезет. На кого наткнетесь. Мой совет: никому не верьте. Добирайтесь сами до сути. Вот вам протоколы съезда. Вот протоколы Заграничной лиги. Вот все послесъездовские номера «Искры». Читайте!

— Мне бы еще и работу какую-нибудь,— попросил Михаил Степанович.

— За этим дело не станет,— сказал Первухин и отвел его к Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу, который заведовал экспедицией «Искры». Бонч-Бруевич поручил Михаилу Степановичу вести учет распространения «Искры» среди заграничных организаций и партийных комитетов в России. Работа была не обременительной, свободного времени у Михаила Степановича оставалось много, и он с головой погрузился в изучение материалов съезда и всей прочей партийной литературы. И чувствовал, что по мере того, как вникал в изучаемые материалы, все больше утверждался в мысли, что прав Ленин и «твер-

дые» искровцы, объединившиеся вокруг него в борьбе за партию. Хотя от многих российских эмигрантов, с которыми познакомился уже здесь, в Женеве, приходилось выслушивать совершенно иное. Примкнувшие к Мартову пугали новичка диктаторскими замашками Ленина, его нетерпимостью к чужим мнениям, усвоенной также всем его окружением.

Михаила Степановича, человека по натуре своей предельно мягкого, а в общении с людьми малознакомыми даже застенчивого, очень тревожили такие рассказы. Временами ему казалось, что сторонники «большинства», будучи правыми по существу, в отстаивании своей правоты пользуются средствами неприемлемыми. А так как он был принципиально не согласен с иезуитской формулой «цель оправдывает средства», то его крайне тяготил этот невозможный для него разрыв между «содержанием» и «формой» большевизма.

И снова, как в минувшие годы, когда он мучительно терзался сомнениями, колеблясь между воззрениями народников и марксистов, так и теперь томился он, не будучи еще в силах сделать окончательный выбор между сторонниками Ленина и сторонниками Мартова.

Как-то в партийной столовой к Михаилу Степановичу подошел один из ленинских сподвижников — Пантелеймон Николаевич Лепешинский. Подошел с целью прозондировать настроение новичка.

Разговор не удался, результат его показался Пантелеймону Николаевичу вовсе неутешительным.

Вечером, рассказывая жене своей Ольге Борисовне о попытке установить контакт с новичком, Пантелеймон Николаевич вынужден был признаться, что контакта не получилось, новичок слишком осторожничает, подозрительно косит на собеседника глазом, что-то бормочет о своих антипатиях к бонапартистским и бюрократическим замашкам партийных верхов, о своем доверии к демокра-

тическим инстинктам низов и готов, по-видимому, повторять всякого рода меньшевистские благоглупости о заговорщических тенденциях Ленина, и так далее и тому подобное...

— Кандидат в меньшевики,— вынес приговор Пантелеймон Николаевич.

Но он ошибся. Новичок оказался куда умнее и проницательнее, нежели показалось с первого взгляда Пантелеймону Николаевичу. Нигде не декларируя своей позиции, он продолжал пристально вглядываться в окружающую его эмигрантскую жизнь, усердно работал штемпелем в экспедиции, упаковывая газеты для рассылки по сотням адресов, не упускал ни единого случая сопоставить слова и дела борющихся сторон и терпеливо ждал часа, когда и разумом и сердцем сможет стать по ту или иную сторону барьера.

Наблюдавшему со стороны могло показаться, что процесс «вызревания позиции» несколько затянулся, и вполне возможно, что многие, оказавшись в положении Михаила Степановича, давно уже определили бы свои симпатии и прибились к тому или иному берегу, но все дело было в том, что он выбирал товарищей для совместной борьбы не на день и не на год, а на всю жизнь.

Потому и не торопился. И каждую уделенную ему монетку внимания и сочувствия не клал поспешно в карман, а каждый раз пробовал на зуб, проверяя чистоту и прочность металла.

О том, как неотвратимо, хотя и очень осторожно приближался он к позиции большевиков, сам Михаил Степанович некоторое время спустя повествовал так:

«Передо мной совсем еще недавно (по особым обстоятельствам) стоял вопрос: куда примкнуть? Со сторонами я мог познакомиться только по печатным источникам и проникся сильнейшим предубеждением против «большинства» за его бюрократизм, бонапартизм и практику осад-

ного положения. Я готов был растерзать Ленина за его фразы об осадном положении и кулаке. Оставалось примкнуть к «меньшинству». Но вот беда: я не мог найти в печати указания на такие общие принципы, которые по своей ясности, важности и неотложности оправдали бы революционный образ действий по отношению к съезду и его постановлениям... Оставалось выбирать одно из двух:

Первое. Подвергнуть себя тирании осадного положения, подчиниться требованию «слепого повиновения», узкому толкованию партийной дисциплины, возведению принципа «не рассуждать» в руководящий принцип; признать за высшими учреждениями «власть приводить свою волю в исполнение чисто механическими средствами» и т. д.

Второе. Стать под знамя восстания, помочь разрывать уже сорганизованную партию, и не в силу расхождения в основных принципах, а из-за недовольства деталями устава и способом его применения.

Ни туда, ни сюда. Положение трагическое...

...Я решил поближе познакомиться с тем, как проводятся на практике принципы бюрократизма, бонапартизма и осадного положения. И то ли уж неудачи меня преследовали, только я узнал многое, а гильотины все-таки в работе у «большинства» не видал, робеспьеров не встречал, требования слепого повиновения не слыхал. Осмеливался даже почтительно рассуждать — и ничего, жив!

Скажу яснее. Я заявил, что, оставляя про себя, как не относящуюся к делу, свою оценку действий «большинства» и «меньшинства» на съезде и после съезда, я не вижу в настоящее время оснований к революционному образу действий против учреждений, избранных съездом. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы встретить самое лучшее товарищеское отношение со стороны «боль-

шинства», чтобы получить работу по своим силам и вкусу, без всяких ненужных стеснений. По личному опыту и по наблюдению я убедился, что страшные слова: бюрократизм и т. д. — по меньшей мере недоразумение».

Он определил, с кем правда. Но он положил сам себе непременным условием до того, как во всеуслышание объявит, какую он принял веру, переговорить с Катей. И отступить от этого им самим установленного непременного условия, конечно, не мог.

Выяснив, что Катя еще не скоро вернется в Женеву, Михаил Степанович в начале лета поехал в Париж. И перед отъездом из Женевы написал письмо Ленину, с которым еще не был знаком лично. Письмо предельно откровенное и предельно честное. И уже одно то, что он без утайки распахнул душу перед Владимиром Ильичем, можно счесть убедительнейшим доказательством того, что был он уже с Лениным.

«Дорогой товарищ! Мне очень жаль, что я не мог ближе познакомиться с Вами в Женеве. Почему? Вы должны принять во внимание, что до 35 лет моя жизнь определялась одним миросозерцанием, коренная ломка в эти годы — вещь очень трудная, а еще труднее продумать и последовательно провести для себя новое мировоззрение во всех его разветвлениях, до предела практического применения к жизни. Вопросы для нынешней партийной работы застигли меня совершенно не подготовленным. Единственная практическая деятельность, на какую я считал себя годным без риска наглупить, состояла лишь в том, чтобы стукать штемпелями. При таких условиях Вам не могло быть интересно знакомиться со мною, мне неинтересно слушать Ваш синтаксис, пока не научусь складывать бе-а-ба. Теперь я кое в чем разбираюсь, но еще по тысяче вопросов сижу в болоте. Все-таки попытаюсь написать статейку на тему предпоследнего абзаца программы партии. Чтобы не сде-

лать при обсуждении такой щекотливой темы ложного шага, который был бы не в интересах ЦК, я пошлю прежде всего статью эту Вам лично в надежде, что Вы примете во внимание мое ученическое состояние в данный момент и что мы сообща обсудим этот мало разработанный вопрос.

Меня иногда спрашивают: в «большинстве» я или в «меньшинстве». Ехал я за границу нулем, но чем больше здесь знакомился с «меньшинством»... тем больше становился для него минусом и тем сильнее тяготел к «большинству». И все-таки я не могу сказать, что примыкаю к «большинству»...»

Да, он еще не мог сказать этого. Хотя и хотел сказать. Больше того, знал, что в скором времени скажет: «я с вами». И если не сказал этих слов в этом письме, то лишь потому, что присущая ему правдивость — правдивость, доходящая до щепетильности,— не позволяла сказать до тех пор, пока не будет устранена даже тень сомнения.

Обусловливалась эта тень сомнения возможностью, хотя и маловероятной, услышать из уст Кати сколько-нибудь веские доводы в защиту занятой ею позиции.

Так представлялось ему. Но вот, написав: «не могу сказать, что примыкаю к «большинству»,— он писал далее в своем письме Владимиру Ильичу:

«Прежде всего я считаю самый вопрос, поставленный в такой форме, праздным. В политике не судят, а действуют, то есть определяют свое отношение не к прошлому, а к настоящему и будущему. «Большинство и меньшинство» теперь уже отошли в историю. В настоящее время вопрос должен ставиться так: «за кого вы: за ЦО или за ЦК».— Я за ЦК, но и тут с оговоркой. Я слишком мало знаю тактику ЦК... Если я войду в организацию, я, может быть, стану отрицательно относиться к некоторым сторонам или приемам его деятельности.

Впрочем и теперь, еще сидя в болоте, я нахожу нелишним поделиться с Вами некоторыми замечаниями. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что члены и сторонники ЦК, находящиеся за границей, слишком много значения придают непосредственной борьбе со сторонниками ЦО, то есть обсуждению спорных вопросов, вместо того чтобы отнимать почву из-под ног противников. Ведь в конечном счете возражения господ из ЦО сводятся к тому, что ЦК в настоящем составе и при нынешней тактике недееспособен...

Я, напротив, убежден, что нынешний ЦК дееспособен и действует. Но он делает роковую ошибку, никогда не выступая публично с заявлениями об условиях и о содержании своей деятельности и об ее проявлениях. И благодаря этому для заграничной *публики* он миф, и поэтому-то здесь так много сторонников ЦО.

Конечно, условия тайной организации допускают очень мало публичности. Тем менее простительно не пользование публичностью там, где она возможна. Главное публичное проявление деятельности — печать. Ну разве же простительно для ЦК целую зиму и весну молчать о том, что он выпускает в России массу печатного материала? Еще до опубликования курьезного отчета на задворках № 66 ЦО мне удавалось затыкать рот противникам ссылкой на мои частные сведения об изданиях, выпущенных в России. Необходимо немедленно публиковать о всякой прокламации, о всякой брошюре, выпущенной в России из типографии ЦК.

В ЦО был ряд воплей из России: «нет литературы». Теперь есть ряд российских изданий, может быть, уже были и удачные транспорты; об этом в корреспонденциях ни слова, в отчете ЦК — тоже. Остается впечатление, что в России и поныне нет литературы. Полезно также давать публичный отчет о распределении литературы по местным комитетам.

Далее, насколько позволят конспиративные условия, желательно опубликование того, каким местным комитетам и в какой мере ЦК оказывал поддержку людьми, средствами и т. п. ...

Литературные силы ЦК, и вы на первых местах, должны проявлять себя статьями в ЦО и брошюрами не полемическими только против ЦО, а имеющими целью непосредственную борьбу с буржуазией и самодержавием. Для этого, конечно, нужно прежде всего постараться побольше отвлечь собственную мысль от изнурительных вопросов о «большинстве» и «меньшинстве». Практичнее было бы чаще напоминать о себе, хотя бы в аптекарских дозах. (Мне кажется, что никто лучше Вас не мог бы написать статью о проекте программы, опубликованной недавно в «Революционной России». Без ответа нельзя оставить эту программу, и лучше не уступать этого дела членам ЦО.)

Лучшим ответом на безобразное письмо Плеханова в № 66 было бы скорейшее опубликование протоколов Совета и требование от самого Плеханова разъяснить вопросы: какие это известия и из каких источников рисуют политику ЦК в России в неблагоприятном свете. В чем проявилась бонапартистская политика заграничных представителей ЦК. Какие это претензии нелепы и смеха достойны. Чье это «наше стремление» создать почву для мира в партии и в чем оно проявилось. До ответа на эти и, может быть, другие вопросы, мне кажется, было бы недостойно ЦК отвечать на письмо Плеханова. Требовать прямых ответов на вопросы совершенно неопределенные — это иезуитизм, достойный самого энергичного отпора.

Таврионов».

Почему-то этим, до того не употребляемым им псевдонимом подписал он очень для него важное письмо.

Он, конечно, и не заметил тогда, что второй половиною письма опровергает первую его половину. Конечно же, он уже не только примкнул к «большинству», но встал в его ряды, жил его радостями и тревогами и боролся за его идеи, за торжество этих идей. Боролся искренне и убежденно, хотя — и вторая половина письма это убедительно показывает — сохранилась еще у него немалая доля политической наивности и недостаточно знаком он был с условиями конспиративной работы представителей ЦК и местных партийных комитетов в России и, самое главное, недоучитывал он тогда всей опасности меньшевизма как политической силы, противостоящей партии рабочего класса.

Словом, он уже решил для себя все до конца. И ехал он в Париж не для того, чтобы устранить тень сомнения, а потому лишь, что дал себе слово не определять во всеуслышание своей политической позиции до того, как переговорит с Катей.

А слово свое — независимо от того, себе ли дал или кому другому — он всегда держал крепко.

4

После столь долгой разлуки встреча могла бы быть более радостной и по-родственному теплой. И дело было не только в издавна присущей Кате некоторой сухости и сдержанности в проявлении своих чувств. За сдержанностью угадывалась настороженность. Михаил Степанович сразу почувствовал ее и даже не особенно удивился. Пожалуй, иной встречи нельзя было ожидать. Вместо того чтобы сразу приехать в Париж, он слишком долго задержался в Женеве. Это не могло не встревожить, не огорчить, наконец, не обидеть Катю.

Не совсем ясно было ему, вызвана ли Катина настороженность тем, что он не особенно торопился к ней, или

тем, что Кате стали известны его дружеские отношения со сторонниками Ленина.

В заданном ею вопросе можно было услышать отчетливо и то и другое:

— От Женевы до Парижа несколько часов езды, тебе же понадобилось несколько недель. Видно, ты ехал на малороссийских волах? Или может быть Париж стал дальше от Женевы?

И сразу же подумалось: «А надо ли было ехать сюда?» И едва не вырвалось в ответ: «Да, Париж дальше от Женевы, нежели я предполагал».

Но, как всегда при недолгих, хотя и достаточно частых размолвках с Катей, он не позволил выплеснуться первому своему раздражению. И не столько потому, что признал за ней право на укоряющий вопрос, а прежде всего по той причине, что для предстоящего разговора нужна была ясная, незамутненная раздражением голова и, по возможности, душевное спокойствие. Ведь он приехал, чтобы обсудить с Катей вопрос жизненно важный для него и для нее. От того, как он решится, зависела вся их дальнейшая жизнь. И приехал он в надежде убедить, точнее, переубедить ее. Начинать такой разговор со взаимных уколов было бы неразумно и недостойно.

Мудрее всего было бы начинать разговор не со слов. Подойти, обнять, прижать к груди ее голову, погладить мягкие пряди чуть тронутых сединою темно-русых волос...

Такими он видел первые мгновения их встречи. Так оно и было бы... Если бы он не наткнулся на ее настороженный взгляд. Он всегда, с первого часа их знакомства, был ведомым. Таким и остался.

Теперь предстоящий диалог мог быть только разговором о деле, о главном деле их жизни. И надо было суметь провести его в обстановке предельной доверительности.

Он и начал с того, что постарался так рассказать ей о своих поисках истины, чтобы она не только рассудком поняла, но и сердцем почувствовала, что для него наступила та самая минута жизни, когда необходимо во что бы то ни стало окончательно определиться. И поняла, и почувствовала, что это очень для него важно, потому, что это раз и навсегда.

— Разве ты еще не определился? — с некоторой долей иронии спросила Катя.

В самом тоне вопроса иронии не слышалось, но он очень хорошо знал этот взгляд с легким прищуром.

— Может быть, я и смог бы сказать, что определился,— сдержанно ответил Михаил Степанович,— если бы не узнал, что ты давно уже придерживаешься иных взглядов.

— Раньше, мне помнится, ты сам определял свои взгляды,— заметила Катя.

— Раньше было проще,— возразил Михаил Степанович.— У нас были одни взгляды.

Он все еще не терял надежды пробиться к ее сердцу и разуму сквозь защитный панцирь вежливой иронии, за которым она пыталась укрыться. Кажется, она поняла это и решила сразу развеять его надежды.

— Согласись,— сказала Катя,— что у меня гораздо больше оснований считать правильными не твои, а свои,— она подчеркнула это слово,— взгляды. Я уже три года за границей, а не три недели, как ты. В Организационном комитете работала я, а не ты. На съезде была я, а не ты. И, наконец, диктаторские замашки новоявленного Бонапарта испытала на себе я, а не ты!

Катины глаза метали молнии. И трепетали ноздри короткого прямого носа. Как все это ему знакомо! Уж ему-то ясно, что обиду (а свое неизбрание в состав ЦК Катя восприняла как личную обиду) она не забудет и не простит.

Разумом он понимал, что надежды его переубедить Катю иллюзорны и беспочвенны. Но Катя в своем бурном ожесточении была похожа на ребенка, разгневавшегося на грозу, и негодовать по поводу ее ожесточения было все равно что сердиться на ребенка. И он долго и терпеливо, стараясь не обращать внимания на язвительные реплики, которыми она то и дело перебивала его речь, объяснял ей, в чем живая сила идей сторонников «большинства» и в чем книжная слабость взглядов и убеждений их противников. Но семена падали на каменистую почву, и вряд ли можно было ждать добрых всходов.

Сильнее всего гневалась Катя на жестокую тиранию, процветавшую, по ее словам, в женевской группе сторонников «большинства».

— Это даже не самодержавие,— горячилась она,— это какая-то восточная деспотия! Нет аллаха, кроме аллаха, а Владимир Ульянов пророк его!

— Это же беллетристика, все эти вопли о тирании,— возражал он Кате.— Я за границей всего несколько недель и уже успел убедиться, что на самом деле все совершенно не так.

И он рассказал Кате, как, приехав в Женеву и наслышавшись о тирании и бонапартизме, сразу же пошел к большевикам, с тем чтобы напрямую добраться до истины, чтобы своими глазами увидеть и на себе испытать, как проводятся в жизнь принципы бюрократизма, бонапартизма и осадного положения. И ничего подобного не обнаружил.

— Ты всегда был простодушен и доверчив до наивности,— сказала Катя.— А сейчас еще, к тому же, начинаешь впадать в детство. Хотя, казалось бы, рановато... Как ты не можешь понять: не станут же тебя отпугивать с первой минуты. Вот когда по-настоящему влезешь в хомут большевистской дисциплины, тогда поймешь...

Вот насчет хомута не стоило бы ей говорить. Он очень обиделся. Подобных разговоров он не терпел. Уж ей-то, знавшей его, знавшей, как предан он делу партии, не следовало бы пугать его дисциплиной.

И он первый раз в течение всего разговора ответил ей резко. В том смысле, что дисциплина страшна только трусу или бездельнику.

Катя не удивилась его резкости, как будто даже обрадовалась ей. И сама ответила достаточно резко, сказав, что тому, кто не осмеливается сам принять решения, ссылка на дисциплину самое надежное прикрытие.

После этого можно было бы и закончить разговор. Но он предпринял еще одну — последнюю — попытку:

— Не за тем я ехал к тебе, Катя...

Но она не приняла протянутой руки.

— Конечно,— сказала она, жестко усмехнувшись,— ты ехал в полной уверенности, что приедешь, возьмешь меня на веревочку и уведешь в свое бонапартистское логово. Напрасные надежды!

Что оставалось делать? Признать свое поражение (ведь он ехал к ней с целью ее переубедить!) и уйти? Но у него еще теплилась надежда (а может быть, ему просто трудно было окончательно смириться), и, уходя, он сказал Кате, что задержится еще на несколько дней в Париже и перед отъездом в Женеву обязательно зайдет к ней.

— Буду рада,— сказала Катя достаточно вежливо.

5

Отправляясь в Париж, Михаил Степанович не собирался там задерживаться.

После того, как решится главное дело (а в том, что решится оно быстро и что исход его будет благополучный, он почти не сомневался), намеревался побродить несколь-

ко дней по великому городу, коснуться ногою тех же камней, какие попирали своими стопами запавшие с детства в душу герои Стендаля, Гюго и Бальзака, окинуть хотя бы беглым взглядом Лувр, Нотр-Дам и Эйфелеву башню, побывать на площади Бастилии и кладбище Пер-Лашез,— и побыстрее обратно в Женеву.

Он покинул Россию не для того, чтобы путешествовать по заграницам, а для того, чтобы работать и бороться. Больше всего пользы мог он принести сейчас, именно находясь в Женеве. Поэтому быстрее назад в Женеву, чтобы примкнуть к заметно поредевшей группе сторонников «большинства» и отдать в ее распоряжение свои рабочие руки. Парижу можно уделить неделю-другую...

Так Михаил Степанович думал, едучи в Париж. Однако же главное дело решилось не так, как он рассчитывал. И слабая надежда, а точнее сказать, тень слабой надежды на то, что Катя — теперь уж, скорее, Екатерина Михайловна — все же в конце концов образумится, была, по сути дела, лишь подсознательной попыткой оттянуть на какое-то время признание в полном своем поражении.

Нечего было и ждать, что она изменит свое решение. Михаил Степанович, достаточно хорошо зная Катю, относил это не на счет незыблемой устойчивости убеждений, а всего лишь за счет ее болезненно самолюбивой и оттого упрямой натуры и был, безусловно, прав.

Стало быть, задерживаться в Париже особой надобности не было, потому что, состоялся бы обещанный им прощальный визит через день или через месяц, ничего бы это в Катином умонастроении не изменило. К тому же вскоре появилась причина поторопиться с возвращением в Женеву.

В Париж приехала Мария Эссен. Разыскала Михаила Степановича и поведала ему такое, что ему и примеч-

таться не могло, столь важное, что определило до конца дней всю его дальнейшую жизнь.

Мария приехала с заданием Владимира Ильича. Он поручил ей разыскать в Париже Богданова, Луначарского и... его, Михаила Степановича Ольминского, и выяснить, когда они смогут приехать в Женеву.

— Их обоих я сразу отыскала,— рассказывала Мария,— а вот с тобой пришлось помучиться. Ты, как видно, не привык еще к европейской жизни, продолжаешь конспирировать по укоренившейся расейской привычке. С большим трудом напала на твой след.

— Это он сам сказал тебе, что я ему нужен? — спросил Михаил Степанович.

— Конечно сам,— ответила Мария и улыбнулась: — У него нет адъютантов, он не генерал.

Михаил Степанович знал, что Мария не только глубоко уважает, а, можно сказать, боготворит Ленина, и все же дружеская ее шутка показалась ему неуместной, и он с трудом удержался, чтобы не попрекнуть ее.

— А зачем? — пытаясь скрыть охватившее его волнение, спросил Михаил Степанович.— Зачем я ему нужен?

В ответ Мария рассказала ему, что Владимир Ильич давно уже вынашивает мысль о создании новой партийной большевистской газеты, такой газеты, которая смогла бы стать центральным органом сторонников «большинства», заменив «Искру», так как та окончательно перешла на меньшевистские рельсы и открыла по большевикам беглый огонь из всех своих орудий.

— Владимиру Ильичу нужны партийные литераторы,— продолжала Мария,— люди, умеющие держать перо в руках. Вот он и послал меня за вами.

— Мне понятно, что он послал за Богдановым и Луначарским,— как бы про себя произнес Михаил Степанович.— Это известные литераторы... Но за мной?

— Ты что! — Мария сдвинула к переносью густые

темные брови.— Знаешь,— сказала она строго,— самоуничижение паче гордости!

Михаил Степанович замахал руками:

— При чем тут самоуничижение? Но откуда он мог знать о моих литературных потугах?

— Во-первых, от Богданова, а потом,— Мария улыбнулась,— и мне кое-что известно. Я рассказывала Владимиру Ильичу о твоих олекминских статьях, помню, он тогда сказал: «Так вот откуда Ольминский!..» Я даже читала ему твои стихи, про некий «объект эстетично прекрасный»...

Михаил Степанович укоризненно покачал головой.

— Вот прекрасно! — сказал он с упреком.— Лучше ты ничего не смогла придумать? Представила меня ему как шута горохового...

— Что ты! — воскликнула Мария.— Владимиру Ильичу стихотворение очень понравилось. Он смеялся от души. И сказал, что люди, которые и в якутской ссылке сумели сохранить чувство юмора,— настоящие борцы. И еще добавил, что очень надеется на твой литературный талант, в том числе и на поэтический. Ну, а если говорить всерьез, то больше всего о тебе Владимир Ильич узнал от тебя самого.

— То есть? — не понял Михаил Степанович.

— На Владимира Ильича произвело большое впечатление твое письмо,— пояснила Мария.— Он рассказал мне подробно о письме и добавил: «Ваш друг, судя по всему, человек серьезный. Не торопыга, во всяком случае. Прежде чем отрезать, отмерит семь раз. И привык жить своим умом. Именно такие люди нам нужны».

Михаил Степанович тут же засобирался в Женеву. Но, верный своему слову, сообщил Кате, что зайдет к ней, как было условлено между ними.

Явилась мысль свести Катю с Марией. Может быть, женщины скорее найдут общий язык. Конечно, суть дела

не в этом. Просто у Марии больше аргументов, нежели у него, она отлично знает положение дел в России. Может быть, ей удастся переубедить Катю. И поехал с этим предложением к Марии.

Мария выслушала его и сказала:

— Нет, мне эта задача не по силам. Екатерину Михайловну не смогли переубедить даже Владимир Ильич вдвоем с Надеждой Константиновной.

— Как? — удивился Михаил Степанович.— Катя встречалась с Владимиром Ильичем? Она что же, знакома с Лениным?

— Не просто знакома, а даже останавливалась в семье Ульяновых, когда после Олекминска приехала в Лондон.

— Тогда я ничего не понимаю,— честно признался Михаил Степанович.

— Но ты понимаешь, что мне ходить к ней незачем? — спросила Мария.

— Понимаю,— сказал он.— Пойду один...

Пришел точно в назначенное время, но Катю дома не застал. А открывшая дверь консьержка передала ему, что русская дама уехала за город к знакомым и вернется, вероятно, только через несколько дней.

В тот же вечер Михаил Степанович уехал из Парижа.

6

Идея ответить меньшевикам зубастой политической карикатурой родилась, можно сказать, стихийно, во время разговора за обедом в столовой Лепешинских. Потом забылось даже, кто первый сказал «Э!..», не то Лядов, не то Лепешинский, не то Воровский.

Только, во всяком случае, не Михаил Степанович. Против намерения высмеять меньшевистских «генералов» он, естественно, возражений не имел, но изобразить в

карикатуре Ленина! Сама мысль об этом казалась кощунственной.

Мартын Николаевич Лядов и Пантелеймон Николаевич долго убеждали его, что Владимир Ильич не только не будет в обиде, но и горячо одобрит затею. Но Михаил Степанович даже и слушать их не хотел. Согласился лишь после долгих уговоров и тут же потребовал, чтобы Лепешинский, которому, как рисовальщику, принадлежала главная роль в осуществлении затеи, поручился честным словом, что он сам, прежде чем выпускать в свет, покажет карикатуру Владимиру Ильичу.

— Забавный вы человек, Михаил Степанович,— сказал ему Лепешинский.— Неужели за его спиной будем делать?

Позднее, после того как Михаилу Степановичу посчастливилось провести с семьей Ульяновых целый месяц в глухой, затерявшейся в горах швейцарской деревушке и короче познакомиться с Лениным, он понял, как смешон был в своей незадачливой щепетильности.

Но это было потом, а до этого проведенного в горах месяца Михаил Степанович мало знал о личных качествах Ленина, и глубокое уважение к вождю партии (в этой, и только в этой ипостаси виделся ему Ленин) мешало ему разглядеть в нем душевного товарища и человека веселого, любящего шутку и знающего цену и юмору и сатире.

С другой стороны, любимым писателем Михаила Степановича был Щедрин, и любовь эта возникла прежде всего из понимания того, что сатира — могучее оружие в борьбе против любого врага, а особенно действенна и незаменима, когда применяешь ее против врага, превосходящего тебя по силам.

Едкая и точно нацеленная сатира представлялась Михаилу Степановичу пращой в руке юного Давида, отважившегося на борьбу с Голиафом.

И по мере того как новорожденная идея облекалась в плоть и кровь, приобретая реально зримое обличье, все более заманчивой казалась представившаяся возможность нанести сильный и меткий удар противнику, преждевременно торжествующему свою победу. Будучи достаточно опытным публицистом, Михаил Степанович сразу понял, что мишень отыскана чрезвычайно удачно.

Поводом для карикатуры послужила статья Мартова «Вперед или назад?», опубликованная 1 июня 1904 года в меньшевистской «Искре», в которой он обрушился на ленинскую работу «Шаг вперед, два шага назад». Мартов, упоенный одержанными временными победами (ну как же: ЦО захватили, ЦК прибрали к рукам — это ли не победы!), пытался, «резвяся и играя», доказать, что книга Ленина не попала в цель и прозвучала холостым выстрелом.

Весьма неосторожно (как потом оказалось) Мартов дал своей статье хлесткий подзаголовок: «Вместо надгробного слова». Иными словами, Мартов и его сотрапезники по меньшевистскому застолью решили политически похоронить Ленина и справить ему погребальную тризну.

Ответом на претенциозную и неумную статью Мартова и явилась выпущенная отдельной листовкой большевистская карикатура «КАК МЫШИ КОТА ХОРОНИЛИ (назидательная сказка, сочинил не Жуковский. Посвящается партийным мышам)». Рисовал карикатуру Пантелеймон Николаевич, над текстом трудились сообща.

Карикатура представляла собою как бы триптих.

На первом рисунке изображен Ленин с туловищем кота, повисшего на собственной лапке. Вокруг него ликующие мыши (с головами меньшевистских «генералов» и «штаб-офицеров»).

Две бойкие мыши (Мартов и Аксельрод) старались отодрать лапку кота от перекладины, шустрый мышонок (Троцкий) с живым интересом наблюдал за их действия-

ми, старая седая мышь (Вера Засулич) весело отплясывала на откинутом в сторону кошачьем хвосте. Тут же на бочонках с надписью: «Диалектика. Остерегайтесь подделки» (намек на смешную претензию Плеханова и компании считать, что только им дано разуметь тайны диалектики) разместились остальные мыши: храбро потрагивающий лапку «мертвого кота» Потресов, вцепившийся острыми зубами в кончик Мурлыкиного хвоста Дан и осторожно усевшаяся в сторонке Инна Смидович. А их предводитель — премудрая крыса Онуфрий — Плеханов восседал на подоконнике, между двумя дверцами: «Протоколы съезда» и «Протоколы Лиги»,— этими неопровержимыми документами — свидетельствами позорной роли Георгия Валентиновича, столь стремительно переметнувшегося от большевиков к меньшевикам,— и с некоторой опаской взирал на своих резвящихся соратников.

Первый рисунок прокомментирован был следующей пояснительной подписью: «Один наш лазутчик (коллега кота) * нам донес, что Мурлыка повешен. Взбесилось наше подполье. Вот вздумали мы кота погребать, и надгробное слово состряпал проворно в ЦО поэт наш придворный по прозванию Бешеный Хвост. Сам Онуфрий, премудрая крыса, на свет божий выполз из темной трущобы своей (бочонок из-под диалектики служил жилищем ему), и молвил он нам: «Ах, глупые мыши! Вы, видно, забыли мое предупреждение. Я — старая крыса, и кошачий нрав мне довольно известен. Смотрите, Мурлыка висит без веревки, и мертвой петли вокруг шеи его я не вижу. Ох, чую, не кончатся эти поминки добром...»

Ну, мы посмеялись и начали лапы кота от бревна отдирать, как вдруг распустилися когти и на пол хлопнулся кот, как мешок. Мы все по углам разбежались и с ужасом смотрим, что будет?..»

---

* Намек на члена ЦК Носкова.

На рисунке втором изображена оргия шумного ликования мышей над «трупом» кота. Плеханов с Троцким, забыв на радостях о ступенях партийной иерархии, дружески обнявшись, откалывают канкан под игру Дана на дудке. Мартов, расположившись на брюхе кота, торжественно читает сочиненное им «Надгробное слово». Аксельрод, нахально задрав длинный хвост, щекочет его кончиком в ноздрях у кота. Осмелевшие дамы (Засулич и Смидович) дергают теперь нестрашного Мурлыку за хвост. Потресов, взгромоздившись на «диалектический» бочонок, поднимает победную чару.

«Мурлыка лежит и не дышит. Вот мы принялись, как шальные, прыгать, скакать и кота тормошить. А премудрая крыса Онуфрий от радости, знать, нализался хмельного вина «диалектики» так, что сразу забыл про когти Мурлыки и.., облапив мышонка, который хотя и не кончил трех классов гимназии, но к диалектике столь же большое пристрастие имел, как и крыса Онуфрий, и всеми мышами был признан законным наследником крысы. Так вот, облапив мышонка, он в пляс с ним пустился под дудку «кота в миниатюре» (извольте видеть, у нас среди «видных» мышей был тезка кота, чем он очень гордился *). Поэт же наш Клим, на Мурлыкино пузо взобравшись, начал оттуда читать нам надгробное слово, а мы гомерически — ну хохотать! И вот что прочел он: «Жил-был Мурлыка, рыжая шкурка, усы, как у турка, был же он бешен, на бонапартизме помешан, за что и повешен. Радуйся, наше подполье!..»

Но, как известно, конец — всему делу венец. И в этом триптихе решающим был третий рисунок. В нем-то и заключалась вся соль.

Рано возликовали охмелевшие от радости меньшевистские грызуны. Не оправдались их сокровенные на-

* Тезка кота — тоже «Ильич», Федор Ильич Дан.

дежды. Не удалось им упрятать кота в могилу. В самый разгар меньшевистского торжества ожил Мурлыка и... пошла охота!.. Хвастливое ликование вмиг сменилось отчаянной паникой. Спасая свои шкурки, кинулись кто куда...

Впрочем, все это очень обстоятельно изложено в подписи под третьим рисунком:

«Но только успел он последнее слово промолвить, как вдруг наш покойник очнулся. Мы — брысь врассыпную!.. Куда там! Пошла тут ужасная травля. Тот бойкий мышонок, что с крысою старой откалывал вместе канкан, домой без хвоста воротился. Несчастная ж крыса Онуфрий, забыв о предательских дверцах, свой хвост прищемил и повис над бочонком, в котором обычно приют безопасный себе находил он, лишь только ему приходилось крутенько. Его ж закадычный приятель, друг с детства, успел прошептать лишь: «Я это предвидел». И тут же свой дух испустил. А «кот в миниатюре» с беднягой поэтом прежде других всех достались Мурлыке на завтрак... Так кончился пир наш бедою».

Когда карикатуру показали Ленину, он смеялся от души, и Михаил Степанович, припоминая свои опасения, не мог не укорить себя, что столь плохо понимал Владимира Ильича и наделил его «генеральским» чванством, которое было органически несовместимо с его натурой, с его непоказной мудростью и душевным здоровьем.

Тогда же Михаил Степанович понял, почему так обрадовался Владимир Ильич (а что обрадовался — было видно, да он и не скрывал этого).

Озорная, можно сказать, брызжущая оптимизмом карикатура была убедительнейшим доказательством того, что сторонники «большинства», сплотившиеся вокруг Ленина и оставшиеся непоколебимо верными партийному зна-

мени, вовсе не пали духом после, казалось бы, сокрушительных ударов, нанесенных им,— хотя было отчего впасть в уныние, ибо самые болезненные и «запрещенные» удары наносились перебежчиками из собственного лагеря,— а сохранили бодрость и готовность к борьбе до полной победы.

Надо было очень верить в правоту, а стало быть, и в конечный успех дела Ленина, которое каждый из них считал и своим делом, чтобы так весело смеяться над разомлевшими от минутной удачи меньшевиками.

Карикатура на мышей, хоронивших кота, широко распространилась среди женевских эмигрантов и, судя по всему, произвела большое впечатление.

Встретили ее, естественно, по-разному: кто-то возмущался и негодовал, кто-то пожимал плечами, а многие, напротив, выражали отменное удовольствие.

Особо примечательной была реакция тех эмигрантов, которые еще не успели достаточно четко определиться и находились на перепутье между редакцией новой «Искры» и группой сторонников Ленина. Так вот среди этих «неопределившихся» больше было таких, которые улыбались, нежели таких, что хмуро сдвигали брови или пожимали плечами.

Как встретили карикатуру сами участники мышиной погребальной церемонии, догадаться не трудно. Впрочем, глава их, великий Плеханов, старался не подать и виду, что карикатурные шпильки нанесли достаточно чувствительные уколы его барственному самолюбию.

Выдала его истинное состояние Роза Марковна, до глубины души потрясенная и оскорбленная публичным поношением боготворимого ею супруга. Женщина добрая и приветливая, тут она воспламенилась не на шутку. И, встретив на улице рисовальщика карикатур Лепешинского, прямо высказала ему искреннее свое возмущение:

— Это что-то не виданное и не слыханное ни в одной

уважающей себя социал-демократической партии! Это перешло все допустимые границы! — горячилась Роза Марковна.— Ведь подумать только, что мой Жорж и Вера Ивановна Засулич изображены седыми крысами!

Пантелеймон Николаевич хотел было уточнить, что Вера Ивановна изображена вовсе не крысой, а всего лишь седой мышью, но сдержался и промолчал.

— ...У Жоржа было много врагов,— продолжала возмущаться Роза Марковна,— но до такой наглости еще никто не доходил... И в каком виде предстали мы перед Европой? Что скажет о нас Бебель? Что скажет Каутский? Передайте вашему карикатуристу, что я возмущена! Как у него рука поднялась! Это просто чудовищно!

Роза Марковна, конечно, отлично знала, что «карикатурист» стоит перед нею, но ей было удобнее выражать свой протест в такой «безличной» форме.

Пантелеймон Николаевич принял предложенные ему правила игры, хотя — как он потом рассказывал товарищам — ему очень хотелось обнародовать имя карикатуриста и посмотреть, как отреагирует на это саморазоблачение Роза Марковна.

— Помилуйте, ну что же тут особенно чудовищного? — возразил с улыбкой Пантелеймон Николаевич.— Ведь если по совести, то Георгий Валентинович и сам большой любитель карикатурно изображать своих политических противников... Это, пожалуй, в наших условиях самый даже безобидный полемический прием...

— Ах нет, нет, вы мне этого и не говорите,— продолжала гневаться Роза Марковна.— И передайте, пожалуйста, вашему карикатуристу, что Плеханов русский дворянин и получил военное образование. И предупредите вашего карикатуриста, что если Георгия Валентиновича еще раз выведут из себя, то он может и на дуэль вызвать...

Высказав это грозное предупреждение и гордо вски-

нув голову, увенчанную широкополой шляпой, Роза Марковна с достоинством удалилась.

Когда Пантелеймон Николаевич за обедом рассказал о своей доверительной беседе с Розой Марковной, за столом воцарилось веселое оживление.

— Подействовало! — сказал Мартын Николаевич Лядов.— А вы, Михаил свет Степанович,— повернулся он к Ольминскому,— изволили сомневаться: стоит ли?

Но Михаил Степанович уже не спорил и не сомневался. Он так же, как и все остальные, отлично понимал, что в их арсенале появилось новое весьма действенное оружие.

И теперь на каждую ругательную статью меньшевиков ленинцы отвечали новой язвительной карикатурой.

7

А вскоре Михаил Степанович получил возможность и лично убедиться, сколь глубоко он ошибался, наивно предполагая, что похоронная карикатура обидит или хотя бы заденет самолюбие Владимира Ильича.

Это было в августе 1904 года. А месяцем раньше — в июле — меньшевики, захватившие к тому времени и ЦО и Совет партии руками большевиков-примиренцев, нанесли большевикам-ленинцам удар, от которого (так они надеялись) Ленину и его сторонникам не удастся оправиться. Удар был и коварным и жестоким.

Три примиренчески настроенных члена ЦК (Глебов-Носков, Красин и Гальперин) за спиною Ленина опубликовали «Заявление Центрального Комитета РСДРП», получившее позднее название «Июльской декларации». В преамбуле «Декларации» было сказано:

«Центральный Комитет в полном своем составе,— за исключением одного члена,— обсуждал вопрос о современной борьбе групп внутри партии».

Фальшью и криводушием «декларация» была напитана с этих первых ее строк. Начиная с утверждения о «полном составе». В ЦК кроме помянутой уже тройки примиренцев состояли: Ленин, Курц (Ленгник), Зверь (Мария Эссен), Гусаров, Землячка, Травинский (Кржижановский). Ленгник и Эссен были арестованы в России, но все остальные были на свободе, и наглым самоуправством было, собравшись втроем, именовать себя «полным составом» и, игнорируя мнение остальных четырех членов ЦК, тайком принимать «единогласные» решения.

Не говоря уже о том, что неуклюжая попытка завуалировать отстранение Ленина (признанного вождя большевиков!) фальшивой и трусливой фразой «за исключением одного члена» была крайним проявлением бесстыдства и политического цинизма.

Но, вероятно, примиренцы и их меньшевистские вдохновители и покровители решили, что «в борьбе все средства хороши» и, забыв про совесть и честь, пошли на эту недостойную заведомую подтасовку.

Прежде всего тройка примиренцев поспешила организационно закрепить свой успех, обеспечив за собой численный перевес, и первым пунктом своего решения ввела (кооптировала) в состав Центрального Комитета еще трех членов, также стоящих на позициях примиренчества.

Затем тройка, пустив слезу по поводу разногласий, раздирающих партию, выразила «убеждение в необходимости и возможности полного примирения враждующих сторон», то есть недвусмысленно порекомендовала большевикам-ленинцам встать на колени перед меньшевиками.

Тройка цекистов-примиренцев полностью солидаризировалась с позицией меньшевистской редакции «Искры» по важнейшему вопросу, признав, что очередной Третий съезд партии, агитацию за созыв которого вели больше-

вики, «нуждами практической деятельности не вызывается» и *«при данных обстоятельствах* явился бы серьезной угрозой единству нашей партии».

Поставив таким образом важнейший вопрос о съезде с ног на голову, тройка примиренцев решительно высказалась «против созыва *в настоящее время* экстренного съезда и против агитации за этот съезд».

Для того, чтобы лишить Ленина возможности бороться с примиренцами и, в частности, с подтасованной «Июльской декларацией», тройка приняла специальный пункт:

«12. Установить за границей между товарищами Глебовым и Лениным следующие отношения:

а) Тов. Глебову поручается заведование всеми делами ЦК за границей, как-то: сношения с ЦО, посылка людей в Россию, касса, экспедиция, типография, разрешение к печати в партийной типографии различных произведений и пр.

б) Тов. Ленину поручается обслуживание литературных нужд ЦК; печатание его произведений наравне с произведениями остальных сотрудников ЦК происходит каждый раз с согласия коллегии Центрального Комитета».

И после этого уже прямой издевкой звучал следующий пункт:

«13. Решено напомнить тов. Ленину об исполнении его прямых обязательств перед ЦК как литератора. Собрание констатирует печальный факт слабого участия его в литературной деятельности Центрального Комитета».

Таким образом, Ленин был связан по рукам и ногам и, по существу, лишен не только прав члена ЦК, но и прав рядового члена партии.

Предательство тройки цекистов-примиренцев потрясло Ленина. «Это издевка над партией,— сказал он.— Это хуже измены Плеханова».

Необходимо было иметь ленинское мужество, чтобы не рухнуть под таким ударом. Ленин не рухнул, выстоял.

Но непрерывная, затянувшаяся на месяцы и годы ожесточенная внутрипартийная борьба изнурила его. Сдало его железное здоровье. Появилась томительная бессонница. Часами лежал он, не смыкая глаз, мучительно переживая интриганские методы борьбы, беззастенчиво применяемые меньшевиками и — что особенно тяготило и терзало — бывшими соратниками.

Надежда Константиновна, не оставлявшая его ни на минуту, решительно настояла на том, чтобы отставить в сторону все дела и дать хотя бы короткий отдых переутомившейся голове и исстрадавшемуся сердцу.

Взвалили на спину рюкзаки и отправились вдвоем «бродяжить» в горы. Надежда Константиновна в своих воспоминаниях так рассказывает об этих днях:

«Мы с Владимиром Ильичем взяли мешки и ушли на месяц в горы... забирались в самую глушь, подальше от людей. Пробродяжничали мы месяц: сегодня не знали, где будем завтра, вечером, страшно усталые, бросались в постель и моментально засыпали.

Деньжат у нас было в обрез, и мы питались больше всухомятку — сыром и яйцами, запивая вином да водой из ключей, а обедали лишь изредка. В одном социал-демократическом трактирчике один рабочий посоветовал: «Вы обедайте не с туристами, а с кучерами, шоферами, чернорабочими: там вдвое дешевле и сытнее». Мы так и стали делать. Тянущийся за буржуазией мелкий чиновник, лавочник и т. п. скорее готов отказаться от прогулки, чем сесть за один стол с прислугой. Это мещанство процветает в Европе вовсю. Там много говорят о демократии, но сесть за один стол с прислугой не у себя дома, а в шикарном отеле — это выше сил всякого выбивающегося в люди мещанина. И Владимир Ильич с особенным удовольствием шел обедать в застольную, ел там с особым аппетитом и усердно похваливал дешевый и сытный обед. А потом мы одевали наши мешки и шли

дальше. Мешки были тяжеловаты: в мешке Владимира Ильича уложен был тяжелый французский словарь, в моем — столь же тяжелая французская книга, которую я только что получила для перевода. Однако ни словарь, ни книга ни разу даже не открывались за время нашего путешествия; не в словарь смотрели мы, а на покрытые вечным снегом горы, синие озера, дикие водопады.

После месяца такого времяпрепровождения нервы у Владимира Ильича пришли в норму. Точно он умылся водой из горного ручья и смыл с себя всю паутину мелкой склоки. Август мы провели вместе с Богдановым, Ольминским, Первухиными в глухой деревушке около озера...»

Ольминского Надежда Константиновна пригласила присоединиться к их компании как старого знакомого. С Михаилом Степановичем и с Екатериной Михайловной она была знакома еще по Петербургу. Она бывала в их скромной квартирке на пятом этаже доходного дома по Поварскому переулку. И именно Екатерина Михайловна в свое время приобщала ее к пропагандистской деятельности в рабочих кружках на Выборгской стороне.

Михаил Степанович принял приглашение с огромной радостью и в то же время с некоторым трепетом. Уважение его к Владимиру Ильичу было столь велико, что его правильнее было бы назвать преклонением. Поэтому первое время Михаил Степанович несколько дичился и как-то стушевывался в присутствии Владимира Ильича. Но тот держал себя очень просто и непосредственно, не было у него той барской осанки и покровительственной снисходительности по отношению к рядовым членам партии, которые всегда отличали Плеханова, и очень скоро Михаил Степанович освоился и почувствовал себя легко и свободно в обществе Владимира Ильича.

Часто всей веселой компанией отправлялись на прогулки по живописным окрестностям. Каждый день ходили купаться на озеро. Владимир Ильич был, что называется, душою общества; он много шутил, весело смеялся шуткам друзей, охотно заводил песню. Михаил Степанович не решался присоединиться к хору — его бог обделил музыкальным слухом — но зато он проявил себя как стихотворец: дописал куплет к популярной и часто исполнявшейся в их компании «Дубинушке», который пришелся всем по душе и особенно понравился Владимиру Ильичу:

Новых песен я жду для родной стороны,
Но без горестных слов, без рыданий,
Чтоб они, пролетарского гнева полны,
Зазвучали призывом к восстанью.

Конечно, не одним безмятежным весельем наполнены были дни. Владимир Ильич делился с товарищами своими мыслями, обсуждал с ними и ближайшие планы и далекую перспективу. Все понимали, что сейчас, как, может быть, никогда, важно, чтобы партийные комитеты в России были осведомлены о происходящих в партии событиях, чтобы им стала понятна вся подоплека внутрипартийной борьбы.

Для этого необходимо было потоку меньшевистских статей и брошюр противопоставить большевистское партийное слово. Возникла неотложная, настоятельная потребность в большевистской литературе.

После того как партийная типография оказалась в руках цекистов-примиренцев, группа большевиков-ленинцев организовала «Издательство социал-демократической партийной литературы В. Бонч-Бруевича и Н. Ленина».

И теперь надо было собирать и сплачивать собственные литературные силы и налаживать работу только что созданного издательства.

Меньшевики со страниц захваченной ими «Искры»

вели прицельный огонь по большевистским позициям. Особенным нападкам подвергалась книга Ленина «Шаг вперед, два шага назад». Нельзя было оставлять последнее слово за меньшевиками. На их статьи, порочащие решения Второго съезда и пытающиеся ниспровергнуть принципы большевистской партийности, следовало ответить статьями, утверждающими политические и организационные принципы, выработанные съездом.

И когда Владимир Ильич как-то посетовал, что слабы еще большевистские литературные силы и трудно противопоставить что-либо равнозначное потоку статей таких опытных полемистов, как Плеханов, Мартов, Аксельрод, Засулич, и таких мастеров словесной эквилибристики, как Троцкий, то Богданов возразил, что иногда мы не замечаем литераторов, которые рядом с нами.

Когда же Владимир Ильич спросил, о ком речь, Богданов назвал Ольминского.

Владимир Ильич сказал, что он знает о литературных способностях Ольминского, но противники-то у него будут очень уж матерые...

— Я печатал его статьи,— сказал Богданов,— у него острое перо. К сожалению, есть у него и изъян: излишняя скромность, склонен недооценивать себя и свои способности. Его надо подбодрить и воодушевить.

С Ольминским поговорили. И ободрили, и воодушевили, и нацелили.

Михаил Степанович был горд доверием Владимира Ильича. За перо взялся с радостью. Он понимал, что вести полемику с меньшевистскими лидерами — дело нелегкое. На их стороне опыт литературный и политический, а кроме того, огромный личный авторитет, у Плеханова например. У него же ни личного авторитета, ни опыта еще не было.

Но было и у него преимущество. И немалое. Он отстаивал правое дело. Он вступал в бескомпромиссную



борьбу за партию. За партию нового типа, за партию рабочего класса.

Уверенность в своей правоте множила силы, и уже не страшили ни эрудиция противников, ни их высокое положение.

8

Самым опасным противником был, конечно, Плеханов. Это не значило, что Михаил Степанович склонен был сбросить со счетов Мартова и ближайшее его окружение — Аксельрода, Засулич, Потресова. Каждый из них, и даже шустрый мышонок Троцкий, мог укусить, и очень даже больно.

Но Плеханов, по всем статьям: и по марксистской эрудиции, и по широте мышления, и по авторитету как в эмигрантских кругах, так и среди профессиональных революционеров в России — стоял на голову выше всех своих сподвижников по новой «Искре».

Так считал не только Михаил Степанович. Так полагали и все его друзья. Таково же было и мнение Владимира Ильича, и это все хорошо знали.

Но когда Михаил Степанович сказал своим друзьям, что в обдумываемых им статьях — а он собирался написать их три или четыре — основной удар наносится по Плеханову, мнения разделились.

— Только так! — решительно подтвердил Мартын Николаевич Лядов и даже кулаком по столу пристукнул.— Бить по главной цели!

Пантелеймон Николаевич Лепешинский не был столь категоричен. Прямо возражать Лядову он не стал, но осторожно заметил, что, может быть, для начала лучше бы выбрать противника «по зубам». Не замахиваться сразу на такого колосса, как Плеханов...

— Дело ведь не в персонах, а в идеях. А они сейчас одни — что у Плеханова, что у Мартова, что у Троцкого.

Но Пантелеймона Николаевича никто не поддержал.

— Идеи действительно одни,— согласился Александр Александрович Богданов,— и с этой точки зрения удар по Плеханову ли, по Троцкому ли — удар по одной и той же идее. Только резонанс разный.— И, усмехнувшись, добавил: — Так лучше уж по митрополиту.

Если бы Михаил Степанович выбрал себе менее именитого противника, то, вероятно, статьи написались бы быстрее. Но вряд ли удались бы в такой мере.

Хорошо зная литературный и полемический талант Плеханова, относясь с почтительным и даже несколько боязливым уважением к его тщательно выверенной логике и разящему сарказму, Михаил Степанович особое внимание обратил на то, чтобы в каждой строке быть предельно точным в доводах и аргументах и предельно метко определить направление удара.

И ни на минуту не забывал любимого своего Салтыкова-Щедрина, понимая, что точно нацеленная сатира сработает надежнее самых убедительных, самых серьезных аргументов.

Первые три полемические статьи Михаила Степановича Ольминского: «Наши недоразумения», «Недоразумения рассеялись» и «Орган без партии и партия без органа» — были выпущены отдельной брошюрой, вместе со статьями Рядового (псевдоним А. А. Богданова) в августе 1904 года.

Статьи Михаила Степановича Ольминского стали заметным явлением в большевистской публицистике, в ее борьбе за ленинские принципы партийности. Значение этих статей в деле борьбы за партию рабочего класса трудно переоценить. Статьи сыграли исключительно важную роль в разоблачении мелкобуржуазной природы и оппортунистической сущности меньшевизма.

Полные сатиры и бичующей иронии, статьи Михаила Степановича язвительно высмеивали меньшевистских «генералов», окопавшихся в незаконно захваченном бастионе Центрального органа и взиравших оттуда с барским высокомерием на рядовых революционеров, которые, не щадя жизни, беззаветно боролись в местных партийных организациях по всей огромной стране, от Питера до Владивостока, от Архангельска и Вологды до Баку и Одессы, сплачивая рабочих вокруг идей марксизма и закладывая основы будущей пролетарской партии.

В работе над этими статьями и сам их автор как бы родился заново.

Всего несколько недель назад он с предельной искренностью писал Ленину: «Единственная практическая деятельность, на какую я считал себя годным без риска наглупить, состояла лишь в том, чтобы стукать штемпелями».

И вот гадкий утенок превратился в лебедя. Он нашел свое место в общей борьбе. Он поверил в свои силы и в короткий срок стал ближайшим соратником Ленина.

Послушно и позорно капитулировавший перед меньшевиками ЦК в неимоверных потугах пытался заставить капитулировать и Ленина.

Заграничным представителем ЦК вместо Ленина был назначен Глебов, он же Носков (тот самый, что в тексте под карикатурой назван был меньшевистским лазутчиком). Глебов-Носков начал с того, что отстранил от практических дел — руководства партийной типографией, экспедицией и партийной кассой — всех ленинцев (Лядова, Фотиеву и других) и поставил своих людей. Ленин, оставаясь формально членом ЦК, не имел даже права печатать свои работы в партийной типографии без разрешения Носкова. Тем более лишены были этого права все сторонники Ленина.

Казалось, меньшевики одержали наконец полную победу. В их руках были и редакция Центрального органа, и Совет партии, и Центральный Комитет, и транспорт, и типография, и партийная касса.

У большевиков, казалось, не осталось ничего. Но так только казалось. У Ленина и его соратников осталось главное: убежденная вера в свою правоту, ясное понимание целей борьбы и мужественная готовность бороться до конца за осуществление этих целей.

И они продолжали борьбу за партию.

Рукопись статей Михаила Степановича была сдана в типографию еще до носковского «переворота». Но завершалось их печатание уже при ставленниках Носкова.

И когда брошюра со статьями Галерки (псевдоним Ольминского) и Рядового (псевдоним Богданова) была готова к выпуску, ее по указанию Носкова пытались задержать, как отпечатанную без санкции ЦК.

Ленину пришлось обратиться к сотрудникам типографии с обстоятельным письмом:

«Заведующему партийной типографией т. Илье и партийным наборщикам

Независимо от вопроса о законности притязаний т. Глебова (по этому вопросу все материалы переданы мной тт. Олину, Бонч-Бруевичу и Лядову) я считаю необходимым заявить, что брошюру Рядового и Галерки заведующий и наборщики *во всяком случае* обязаны выдать авторам ее по следующим основаниям:

1) брошюра эта печатается всецело на средства авторов, составляя их полную собственность.

2) распоряжение о наборе и печатании ее в партийной типографии отдано было агентами ЦК задолго до появления т. Глебова с его «реформами». Последующие реше-

ния хотя бы и законных собраний ЦК никоим образом не уничтожают сделанных уже законных распоряжений лиц, состоявших агентами ЦК.

3) авторы отнюдь не настаивают на том, чтобы на брошюре было обозначено, что она печаталась в партийной типографии.

Отказ в немедленной выдаче брошюры авторам я считал бы безусловно прямым захватом чужой собственности.

Член ЦК *Н. Ленин*».

Только после этого настоятельного и энергичного вмешательства Владимира Ильича брошюра была выдана ее авторам и разослана всем заграничным группам и всем партийным комитетам в России.

9

Если бы меньшевистский лазутчик Глебов-Носков почувствовал, какая поистине взрывная сила заключена в маленькой брошюрке двух неведомых ему литераторов, костьми бы лег, но не выпустил ее из стен типографии. Не знал, не догадывался, не досмотрел. Не хватило ни эрудиции, ни интуиции.

И брошюра сыграла свою историческую роль в борьбе за Третий съезд партии, за успешный выход из искусственно созданного тупика.

Приступая к сочинению первой своей статьи, положив перед собой первый лист бумаги, Михаил Степанович отчетливо сознавал, что удар должно нанести прежде всего по самому сильному в лагере противников — по Плеханову.

И еще раз пришлось задуматься над тем — как? Как опровергнуть доводы и аргументы Плеханова? Как победить его безупречную логику и редкостную эрудицию? Как развенчать его авторитет?

Один лишь виделся путь: призвать в союзники иронию и сатиру.

Поводом для написания первой статьи, которую Михаил Степанович озаглавил «Наши недоразумения», послужила статья Плеханова «Централизм или бонапартизм?» с выразительным подзаголовком: «Новая попытка образумить лягушек, просящих себе царя». Статья была опубликована в новой «Искре» 1 мая 1904 года.

Плехановская статья была ответом на письмо уральцев — представителей Уфимского, Средне-Уральского и Пермского комитетов. Уральские революционеры, выражая мнение рабочих промышленного Урала, высказали в своем письме озабоченность и тревогу по поводу нового курса «Искры», утратившей истинную партийную принципиальность и сползающую на осужденные Вторым съездом позиции «экономистов» и «рабочедельцев». Свое письмо в редакцию Центрального органа уральцы заканчивали решительным требованием:

«В революционной пролетарской партии должно быть полное единодушие между ЦО и ЦК, они должны составлять вполне солидарную, спевшуюся коллегию. Довольно мы плыли на утлых ладьях по воле течений; мы строим большой корабль, последнее слово знания и искусства, для него нам нужен хороший командир, мы поплывем с ним по течению, против течения и вынесем бури.

Пора покончить с организационными стадиями — вчера организация кружковщины, сегодня организация экономической агитации в массах, завтра — организация политической агитации и т. д.

Неужели надо теперь опять ждать, пока стихия научит нас понимать нужду в организации не только обслуживающей, но и сильной, властной рукой управляющей? Неужели мало крови потерял рабочий класс, мало разве страдал он не только от ударов врагов, но и от собственной слабости и неподготовленности, чтобы его

вожди и организации не научились быть получше повивальных бабок, чтоб они не научились стать акушерами истории, вооруженными всем знанием, опытом и техникой?»

Отвечая на письмо уральцев своей статьей в № 65 «Искры», Плеханов весьма искусно постарался обойти принципиальные вопросы, в частности сделал вид, что не заметил предъявленного новой редакции главного обвинения в повороте к оппортунизму.

Но зато он с буквоедской педантичностью придирался к каждой недостаточно четкой формулировке авторов письма и со снисходительной усмешкой поучал провинциалов.

Барски пренебрежительное отношение к уральским большевикам достаточно выпукло выразилось уже в самом подзаголовке плехановской статьи: «Новая попытка образумить лягушек, просящих себе царя».

Интеллигент Плеханов позволил себе презрительно отнестись к рабочим, своим товарищам по партии. Вождь Плеханов позволил себе зычный генеральский окрик, а кроме того, в полемическом раже приписал уральцам такое, чего у них и в мыслях не было.

Вот за этот его огрех и ухватился прежде всего Михаил Степанович. Разобрав несколько абзацев плехановской статьи, сопоставив их с текстом письма уральцев и показав беспочвенность плехановских обвинений и заклинаний, Михаил Степанович не без яда продолжал:

«Но если кто-нибудь скажет, что, приписывая уральцам чего они не говорили, сам Плеханов совершил подтасовку с полемическими целями, то я буду протестовать самым решительным образом. Подтасовка предполагает сознательность. Плеханов же в творческом экстазе незаметно для самого себя перешел от публицистики к беллетристике и принял свой вымысел за реальность. Это психическое явление хорошо известно художникам слова:

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь.

В нашей среде художественные таланты так редки, что я от всей души приветствую проявление таланта у Плеханова. Не нужно только принимать беллетристику за публицистику, против чего я счел своим долгом предостеречь лиц, которые будут перечитывать статью «Централизм или бонапартизм?» в № 65 «Искры».

Подробно разбирая плехановскую статью, Ольминский сумел показать, как оторваны Плеханов и его сподвижники от прямого революционного дела, которое вершат в России революционеры-подпольщики.

Сумел показать, что у Плеханова и иже с ним, замкнувшихся в своем тесном эмигрантском мирке и оторвавшихся от боевой революционной работы, нет морального права командовать людьми, ежеминутно жертвующими своей свободой и самой жизнью.

И Михаил Степанович находит предельно точные слова, чтобы четко охарактеризовать работу революционера в российских и заграничных условиях:

«Не нужно забывать, что субъективно деятельность российского революционера определяется чисто идеалистическими мотивами. Спокойствие, безопасность, здоровье, свобода, самая жизнь приносятся в жертву идее. Много ли места остается злой воле?

За границей возможны случаи, когда работа на партию является вопросом честолюбия, общественного влияния или насущного хлеба. Забывая об этом, мы будем иметь новый источник недоразумений».

Свою блестяще написанную статью Михаил Степанович завершил столь же блестящей концовкой:

«Я окончил статью и задумался: каким псевдонимом подписаться? Мне вспомнился Мартов и его великолепное презрение к галерке, которая рукоплещет Ленину. В ка-

честве микроскопического советника Иванова,* члена поганого басурманского большинства, я никак не могу вместить пространного Мартовского великолепия. Мартов презирает галерку. Для кого же он пишет? Неужели для генералов кресел и для купчих бельэтажа?

Я люблю театр, и почему-то так случается, что всегда попадаю на галерку. Публика галерки мне по душе, я чувствую себя здесь между своими. И к вам, товарищи — по месту в театре и по работе в партии, к вам, рабочие, студенты, курсистки и всякого рода поднадзорные, будет мое последнее слово. Я обращаюсь к вам с просьбой извинить меня за то, что свой единоличный труд осмеливаюсь подписать нашим общим собирательным именем...

Галерка».

Великолепна сатирическая концовка второй Галеркиной статьи «Недоразумения рассеялись». В ней Галерка разбирает с пристрастием (так и хочется сказать препарирует) статью Мартова в № 69 «Искры», в которой второй по рангу меньшевистский корифей, ставя вопрос с ног на голову, пытается доказать, что именно меньшевики заботятся о создании пролетарской партии, большевики же ведут дело к тому, чтобы кучка интеллигентов командовала бессловесными и несознательными пролетарскими массами. Галерка притворно соглашается с Мартовым и даже рукоплещет ему:

«Браво! Нет теперь в партии ни большинства, ни меньшинства, все стали добродетельными! Единство восстановлено!

А что скажет микроскопический абсолютист, неукротимый дезорганизатор Ленин? О, его мы теперь не боимся! Он сражен насмерть одним храбрым тамбовским дво-

* Герой «Истории одного города» М. Салтыкова-Щедрина.

рянином, над его могилой прочитано Мартовым надгробное слово!»

Засим логически следует завершающий статью «Апофеоз: члены редакции и сотрудники новой «Искры» держат над головой Мартова лавровые венки, перевитые номером 69 «Искры»... На заднем плане, над могилой Ленина, блестит свежий осиновый кол. Шествие, под марш из оперы «Кармен», вокруг могилы Ленина».

И, наконец, отрезвляющее Галеркино предупреждение:

«Однако не пора ли литераторам меньшинства перестать чаровать публику сладкими вымыслами, не пора ли сказать о товарищах из большинства хоть слово прозы? На одной поэзии далеко не уедешь».

С особым блеском была написана третья, завершающая брошюру статья — «Орган без партии и партия без органа». И самый сильный удар «великому Плеханову» нанесен был именно этой статьей.

Галерка обстоятельно рассказывает обо всех потугах членов редакции новой «Искры» объявить Ленина диктатором и самодержцем, отлучить его от марксизма и политически гильотинировать. С убийственным сарказмом Галерка замечает: «За миражом самодержавия Ленина редакция готова забыть о самодержавии Романова. Редакционные мыши решили, что сильнее кошки зверя нет».

Особенно распалился Плеханов, опубликовавший в двух номерах «Искры» свой фельетон-левиафан «Рабочий класс и социал-демократическая интеллигенция». Нет такого смертного греха, в котором Плеханов не обвинил бы Ленина.

«Ленин не понял ни Каутского, ни Энгельса, ни Маркса, то есть вообще он не понял научного социализма...», «Ленин изменяет марксизму...», «Как же Ленину не стыдно?» и т. д. и т. п.

«Уф, даже рука устала выписывать...— комментирует Галерка этот список злодеяний Ленина.— Сколько муки должен был вынести бедный Плеханов в продолжение трехлетнего незаконного сожительства с этим исчадием ада. Странно, конечно, что Плеханов только после трехлетнего интересного положения благополучно разрешился своим левиафаном...»

Сперва даже невдомек читателю, к чему это Галерка столь усердно цитирует один за другим все укоры Плеханова, адресованные Ленину. К чему эти повторы? Но вслед за этим Галерка приводит небольшую цитату из статьи того же Плеханова «Ортодоксальное буквоедство», опубликованную всего год назад, в июне 1903 года. Возражая в этой статье меньшевику Рязанову, Плеханов тогда писал:

«Ему, изволите видеть, хочется доказать, что прародительница русской социал-демократии, группа «Освобождение труда», стояла на правильной точке зрения до тех пор, пока не была введена в искушение змием-искусителем Лениным... Змий-искуситель вообще никогда ничего не навязывал нам, а всегда действовал в идейном согласии с нами, *как товарищ-единомышленник, нисколько не хуже нас понимавший великое значение правильной теории в нашем деле и нимало не склонный приносить ее в жертву практике* *. И если проект программы, предлагаемый нами российской социал-демократии, имеет свои недостатки, то за эти недостатки мы — П. Аксельрод, В. Засулич и я — ответственны ничуть не меньше, чем Ленин... Легенда о змие-искусителе... должна быть окончательно оставлена».

Сопоставив две эти исключающие одна другую статьи, Галерка спрашивает:

* Курсив М. Ольминского.

«Когда было больше фальши в словах Плеханова, летом ли 1903 года или летом 1904?»

Галерка бьет наотмашь!

«Поет ли тенор о первом сладком трепете любви, о надежде, торжестве, разочаровании, ревности и ненависти,— он овладевает нашим настроением; он изменчив, как настроение, и вправе быть изменчивым. Но политический деятель — не певец; он не вправе менять определения истинного и ложного в зависимости от настроения, которое в свою очередь зависит от взгляда, предмета, сердца или погоды. Импрессионизм, в известной мере законный в искусстве, неуместен в политике и в науке.

Но даже и импрессионистское творчество имеет свои законы: соответствие между содержанием и формой, гармония частей обязательны и для импрессиониста. Левиафан Плеханова, по отсутствию чувства меры, по своей крикливой, дисгармонической «сурьезности» напоминает не столько произведение опытного литератора, сколько беспорядочные выкрикивания разгневанной фельдфебельши.

Ах! Они любили друг друга так долго, так нежно! Он был для нее краше солнышка. Но он охладел, отошел — и объявила она его аспидом. Мы ее понимаем, мы даже в известной мере сочувствуем ей. Но жалок и смешон политический деятель, когда он разражается проклятиями против мнимого Дон-Жуана, являясь перед публикой в растрепанном капоте обольщенной девицы».

Так о Плеханове еще никто и никогда не писал.

Гневный сарказм и убийственная ирония Галерки разят противников большевизма с такой поистине сокрушающей силой, что статью «Орган без партии и партия без органа» с полным правом можно признать образцом большевистской политической публицистики. И еще одно обстоятельство приковывает внимание к этой

замечательной статье. Высокая принципиальность и абсолютная искренность автора.

Не было в партии, да и в целом мире человека, которого бы Галерка — Михаил Степанович Ольминский — чтил, уважал и любил больше Ленина. Но уход Ленина, пусть вынужденный, из редакции «Искры» Михаил Степанович считал ошибкой. И прямо сказал об этом в своей статье.

Вероятно, по соображениям тактическим, сюминутным не следовало упоминать об этом в статье, разящей меньшевиков. Но Михаил Степанович не был политиком, он был и всегда оставался человеком открытой души. И мнение свое высказывал откровенно и недвусмысленно.

Заканчивая статью, Галерка писал:

«В нашем отношении к партийному органу сказался пережиток кружкового периода... Выдвинув тезис положительной работы, мы забыли, что правильное ведение нашего органа, а следовательно, и воздействие на него — тоже положительная работа. Главное же, мы забыли, что ЦО является в известной мере представителем партии: поскольку редакция компрометирует орган, она компрометирует, тормозит и убивает нашу положительную работу. Попытка отмолчаться, уйти от дрязги в другую работу, покинув орган на произвол нынешней редакции,— эта попытка превращается в уклонение от исполнения трудной партийной обязанности сделать орган достойным партии.

Центральный орган должен объединять партию... Центральный орган должен быть для нас такой же святыней, как красное знамя во время демонстрации и в момент восстания.

По отношению к партийному большинству редакция превратила наше священное красное знамя в казацкую нагайку.

Что ж, это отчасти заслужено нами: уклонение от прямой, хотя и трудной, партийной обязанности не проходит безнаказанно для партии».

Владимир Ильич высоко оценил боевое выступление Галерки против меньшевиков.

Когда в связи с «носковскими реформами» затруднилось печатание статей, Владимир Ильич писал Бонч-Бруевичу:

«Пожалуйста, примите *все и всяческие меры* для ускорения выхода

1) брошюрки Рядового и Галерки,

2) Вашего заявления с документами,

3) брошюрки Галерки, посланной сегодня» *.

Примечательно, что в редакционных замечаниях на статью «Орган без партии и партия без органа» Ленин особо отметил: «Конец статьи, по-моему, очень хорош...»

Первые три статьи, преодолевая препоны, установленные Глебовым-Носковым, еще только прорывались к выходу в свет, а Галерка уже написал следующую статью.

На сей раз это был ответ непримиримого большевистского публициста на печально известную «Июльскую декларацию» цекистов-примиренцев.

Статья называлась «Долой бонапартизм!»

Среди меньшевистских «генералов» стало признаком хорошего тона бросать Ленину обвинения в бонапартизме.

Этот хлесткий термин Галерка обратил в бумеранг и отослал обратно. С большим к тому основанием. Переворот в ЦК, учиненный Носковым и К°, был поистине бонапартистским. Троица не только захватила власть и, захва-

* Статья Галерки «Долой бонапартизм!»

тив ее, немедленно и круто изменила политическую линию ЦК, но и приняла все меры, чтобы сохранить ее за собой как можно дольше. Для этого она решительно высказалась против Третьего съезда и запретила даже агитацию за созыв съезда.

Галерка так прокомментировал это:

«Члены ЦК вообразили себя польскими королями, которые, будучи однажды избраны, получали пожизненное право проводить не политику избирателей, а свою собственную королевскую политику».

И дальше:

«Я несколько колеблюсь признать членов ЦК за помазанников божьею милостью. Я склонен думать, что ЦК, как и всякая избранная коллегия, ответствен перед избирателями. Высказываясь против съезда, ЦК оттягивает момент осуществления своей политической ответственности. Я думаю, что всякие вообще коллегии и всякие лица поступают неприлично и некрасиво, что они марают свою честь, когда противятся требованию доверителей дать отчет в своих действиях. Но ЦК идет дальше: он прямо объявляет вредными всякие устные и печатные разговоры (агитацию) о созыве съезда, которому он должен дать отчет. Даже громко разговаривать, даже подавать слезницы о бессмысленных мечтаниях запрещается. Отношение помазанников ЦК к вопросу о созыве съезда является точной копией отношения помазанников Романовых к вопросу о созыве земского собора. Трогательное единомыслие!»

И дальше Галерка так характеризует положение в партии, создавшееся после капитуляции большевистского дотоле ЦК перед меньшевиками:

«Теперь ЦК подвел себя под один знаменатель с Центральным органом. Единство в высших учреждениях восстановлено. Прежнее деление исчезло, настало новое.

Первая часть: их превосходительства и иже с ними.

Вторая часть: шпана, галерка, эхо, быдло, плебс, чернь — вообще все те члены партии, которые осмеливаются не кричать ура в честь их превосходительств».

Галерка безжалостно высмеивает цекистов-примиренцев, которые, притворно запугивая партию «угрозой единству», на самом деле низкопоклонствуют и раболепствуют перед партийной аристократией:

«Я думаю, что ЦК преувеличивает барски капризный характер нашей аристократии. Как ни сильно капризничала она в последний год, все-таки она лучше, чем о ней думает Центральный Комитет. Если она теперь дошла до невероятных пределов каприза, то виновата в том не ее природная испорченность, а наша мягкость. Вместо того, чтобы осадить капризников и идти своей дорогой, мы отмалчивались, а кое-кто даже юлил:

— Пожалуйте на диванчик! Чего хотите: лимонаду? чаю? Центральный орган? или местечко в Центральный Комитет? Не прикажете ли с бисквитом?..

Нечего удивляться, что предмет ухаживания стал походя швыряться тарелками и закапризничался до чертиков».

Заключая статью, Галерка писал:

«Комедия кончена. Бонапартизм раскрыл карты.

Мы, убежденные сторонники республиканской организации партии, принимаем вызов... Мы будем действительно непримиримы в своей борьбе против бонапартизма».

Владимир Ильич в своих статьях и письмах неоднократно ссылался на эту брошюру Михаила Степановича Ольминского, указывая, что Галерка в ней «выступает от имени большинства», что «он от имени всех нас объявил войну» бонапартизму.

«...По мере того, как складывается у нас *настоящая* партия,— писал в то время Ленин,— сознательный ра-

бочий должен научиться... *требовать* исполнения обязанностей члена партии не только от рядовых, но и от «людей верха»...»

И Ленин сурово осуждал меньшевистскую аристократию за стремление уйти из-под контроля партийных масс.

Меньшевистские вожди, в свою очередь, не уставали обличать Ленина во всех смертных грехах. Пальму первенства в этих потугах следовало по справедливости отдать Мартову, выпустившему брошюру с броским заглавием «Борьба с «осадным положением» в Российской Соц.-Дем. Раб. партии». Остальные его сподвижники — Троцкий, Засулич, Аксельрод, каждый в меру своих сил, также старались, как могли, опорочить позицию большевиков.

Демагогические вопли Мартова и его приспешников об «осадном положении» в партии могли сбить и уже сбили с толку многих. Необходимо было разоблачить демагогию Мартова и показать всю антипартийность его позиции. Это и сделал Галерка в очередной своей работе — «На новый путь», вышедшей в свет в начале октября 1904 года.

Новая брошюра Галерки начинается с исторического экскурса. (Вот когда еще раз пригодились ему сведения, вычитанные в «Торгово-промышленной газете», скрашивавшей его одиночество в тюремной камере петербургских «Крестов».)

«Вторая половина 90-х гг. в России ознаменовалась необычайным подъемом промышленности. Чуть не ежедневно в полуофициальном органе министерства финансов («Торгово-промышленная газета») печатались многочисленные известия об основании новых акционерных предприятий, о расширении старых путем увеличения складочного капитала или выпуска облигаций, о пост-

ройке новых железных дорог. Иностранные миллионы широким потоком текли в Россию. Спрос на рабочие руки поглощал значительную часть запасной рабочей армии. Едва обучившиеся начаткам ремесла квалифицированные рабочие сходили за мастеров. Толпа безработных, собирающаяся каждое утро у фабричных ворот, все редела, а параллельно этому росло сознание рабочими их положения в производстве, росла их требовательность к хозяевам. Началось невиданное по размерам стачечное движение, в сравнительно слабой степени освещенное социал-демократической идеологией. Это была разрозненная борьба рабочих отдельных фабрик, в лучшем случае борьба рабочих одной отрасли промышленности за частичные улучшения условий работы и заработка».

Галерка дает четкую характеристику политической сути этого периода рабочего движения:

«Борьба за частичные улучшения... неизбежно должна была выдвигать вперед частные особенности времени и места. Отсюда — ослабление сознания общей связи пролетариата, выдвигание местных интересов, развитие патриотизма своей колокольни...

Изолированные кружки могли в то время с достаточным успехом преследовать свои частные, местные цели. Понятно, что в организационном отношении этот период истории русской социал-демократии характеризуется развитием кружковщины».

Далее Галерка показывает историческую роль «Искры» «в создании революционной организации, способной объединить все силы».

Галерка отмечает, что организация «Искры», поставившая своей целью ликвидацию периода кружковщины, сама «была построена по кружковому типу, с безответственностью центра и полной подчиненностью агентов».

Группа «Искры» справилась со своей исторической

задачей. Она добилась объединения сил. Возникла качественно новая организация, потребовались новые организационные формы.

Галерка убедительно обосновывает необходимость и неизбежность торжества новых организационных принципов построения партии:

«Организация и редакция «Искры» ... блестяще выполнили задачу идейного и организационного собирания земли. Но с того момента, как эта задача была выполнена, начало работы должно было считаться оконченным, и организационные принципы, положенные в основу этой работы, теряли право на свое исключительное господство. Безответственность центра и полная подчиненность организаций низшего порядка становились в противоречие с основными принципами партии как партии социал-демократической. Главенство центра над партией должно было смениться главенством партии над центром. Органом, выражающим желания партии и осуществляющим ее контроль над центром, может быть только съезд представителей партийных организаций. И центральная организация «Искры» в то время оказалась на высоте социал-демократических принципов: она сама содействовала созыву съезда, она передала съезду свою верховную власть, она формально растворилась в партии. Распущение организации «Искры» было событием громадной важности в жизни партии: партия в своей внутренней жизни ликвидировала абсолютизм центральной власти и становилась на путь внутренней политической свободы. Распуская организацию «Искры», съезд ликвидировал целый организационный период».

Галерка находит очень точные слова, чтобы в предельно краткой форме выразить суть всех тех огромных перемен в российском марксистском рабочем движении, в результате которых стихийно возникшие кружки, объединившись вокруг редакции «Искры», взявшей на себя

ответственнейшую роль партийного центра, положили начало партии российского рабочего класса. Фраза Галерки точна и лаконична, как математическая формула:

«От демократической децентрализации кружкового периода через централистическую гегемонию «Искры» партия пришла к централизованной демократии».

«К несчастью,— продолжает далее Галерка,— сами устроители съезда и руководители партии, по-видимому, не вполне оценили это важное значение съезда, а потому и оказались не в равной мере последовательными в своих дальнейших шагах: одни пошли вперед; другие же, пытаясь закрепить прошлое, тянут партию назад: на место гегемонии «Искры», имевшей моральную и идейную основы, они подставляют тип заговорщической организации конца 70-х годов, с безответственностью центров».

Разоблачая атаки апостолов меньшевизма на идейные и организационные основы только что созданной партии, Галерка показывает, что старания Мартова раскрыть возможно шире дверь партии для доступа новых членов самым тесным образом связаны с его же стремлением вывести руководство партии из-под контроля рядовых ее членов. И подтверждает это цитатой из речи Мартова на съезде: «Право у члена партии по нашему проекту одно — доводить до сведения центра свои мнения и желания».

Просто поразительно, как после столь циничного заявления хватило совести у Мартова попрекать Ленина диктаторскими замашками!

Галерка свидетельствует:

«За последний год нам все уши прожужжали ленинским самодержавием, стремлением Ленина к диктатуре и пр. В доказательство диктатуры фактов не приводится. Мы знаем только, что из шести членов старого искровского центра на одной стороне оказалось пятеро, на другой — один. Один — значит, самодержец. Не могут или

не хотят понять того, что самодержавной (безответственной) властью может обладать или к ней стремиться олигархическая группа и что от олигархической группы мог отколоться один человек для защиты демократического строя против олигархии.

Сила внушения — большая сила. За последний год нам так усердно впушали мысль о стремлении Ленина к самодержавию, что многие примут за насмешку, за искажение истины мое заявление о демократизме Ленина».

И чтобы обнажить всю фальшь воплей о «самодержавности» Ленина, чтобы окончательно разоблачить попытку Мартова свалить с больной головы на здоровую,— Галерка, пересказав вкратце содержание мартовской брошюры «Еще раз в меньшинстве», приводит из нее одно поистине убийственное для Мартова признание:

«Во имя интересов «ортодоксии» мы боролись против *демократического* выбора редакции».

Неприязнь к истинному демократизму Ленина у вождей меньшевизма органически сочеталась с барски пренебрежительным отношением к рядовым членам партии:

«Ленина объявили диктатором, демагогом. Но демагогия вообще может увенчаться успехом только в среде малоразвитой, невежественной, не умеющей самостоятельно мыслить. Возможность успешной демагогии по отношению к людям сознательным мало правдоподобна. И вот, чтобы придать больше правдоподобия басне о диктатуре, начинается логически неизбежное принижение той среды, которая идет за демагогом. Приведу несколько примеров.

Плеханов уверял («Искра» № 71), что если в литературном произведении встречаются очень верные и очень ошибочные мнения, то одобрены будут нашими читателями (русскими социал-демократами?) прежде всего не те мнения, которые верны, а те, которые ошибочны».

Затем Галерка приводит аналогичные высказывания Засулич, Аксельрода, Троцкого, Мартова и делает общий вывод:

«Приведенные примеры (первые попавшиеся мне под руку, только из периода №№ 67—72 «Искры») отношения редакции к рядовым работникам партии во многих отношениях характерны. Стоит отметить хотя бы ту сторону, что люди, которым социал-демократическая партия, состоящая из рабочей и интеллигентской голытьбы, дает имя, общественное положение и возможность «погружаться в искусства, в науки»,— что эти люди, сидя в прекрасном далеке, с таким презрением говорят о практиках, населяющих тюрьму и ссылку, не имеющих часто даже возможности учиться... Характерно также, что эти плевки в партию, это дискредитирование партии печатается в Центральном органе, который, как орудие пропаганды, мы вынуждены распространять для поднятия престижа партии, рискуя при этом своей свободой... Я привел цитаты для того, чтобы показать, как олигархи редакции, отрицающие демократическую организацию партии, логически пришли от басни о диктатуре Ленина к принижению и дискредитированию самой партии».

Галерка не останавливается на полдороге. Он договаривает свою мысль до конца:

«Как автократы-олигархи, члены редакции должны были сделать и сделали следующий шаг: они пришли к культу своей собственной личности, к выделению себя из серой партийной массы в качестве «заслуженных», «старейших и лучших».

И дальше Галерка разбирает по косточкам (так и хочется сказать препарирует) брошюру Троцкого «Наши политические задачи». Брошюра эта, как сказано в № 72 «Искры», «издана под *редакцией* «Искры», то есть «устами Троцкого говорят сами редакторы». Послушаем, что они говорят сами о себе:

«Работа реставрации марксизма, занесенного мусором критики, была совершена «Зарей», *во главе которой, разумеется, шел т. Плеханов.* В. И. Засулич указывала интеллигенции элементы идеализма в нашем материалистическом социализме, *мягко, но убийственно иронизировала* над новыми богами интеллигенции и «манила» ее назад — и в то же время вперед — на службу пролетариату. Старовер подкупал интеллигентного разночинца, давая ему его собственный, *тонко и по-марксистски умно* идеализированный портрет. Мартов, *Добролюбов «Искры», умел* на нашу пищенски бедную, несложившуюся, невыразительную общественную жизнь *бросить сноп такого яркого света и всегда с такого счастливого пункта,* что ее политические, т. е. классовые очертания выступали с *поразительной* отчетливостью... А т. Аксельрод?.. *Верный и проницательный страж интересов пролетарского движения, он первый* забил тревогу... Фельетоны Аксельрода в №№ 55 и 57 «Искры» *знаменуют начало новой эпохи* в нашем движении...»

Процитировав эти редакторские самохарактеристики, Галерка с полным основанием заключает:

«Обратите внимание на подчеркнутые мною выражения: не правда ли, что наши редакторы не страдают чрезмерной скромностью. Именно таким языком, устами своих публицистов, должны говорить о себе претенденты на престол...»

Важнейшим и принципиальнейшим пунктом разногласий между сторонниками и противниками Ленина был вопрос о созыве съезда. Сторонники «меньшинства» и примиренцы, захватившие, вопреки воле съезда, все центральные учреждения партии, прилагали все силы, чтобы как можно дальше отодвинуть срок очередного съезда партии.

И тут Галерка находит очень точные и жесткие слова, чтобы заклеймить всю антипартийность поведения вождей меньшевизма:

«...от имени всей редакции... рассылалось мотивированное приглашение вотировать против созыва съезда. Что касается нового Центрального Комитета, то он публично ведет агитацию против съезда и объявляет вредной агитацию за съезд. Борясь против созыва съезда, противодействуя, таким образом, самой возможности того, чтобы партия осуществила свой контроль над центрами и подчинила центры партийной дисциплине, члены центральных учреждений бесчестят свое политическое имя, и что более всего поражает здесь, это откровенность, с которой они действуют. Так могут поступать только люди, не сознающие бесчестия своего поведения. Они похожи на очень маленьких детей, не стыдящихся своей наготы, потому что они еще не доросли до способности стыдиться».

И верный ленинец Галерка заканчивает этот раздел своей статьи словами, которые звучат вдохновенным гимном во славу партийной демократии:

«Мы должны с увеличенной чуткостью и с усиленным вниманием следить за тем, чтобы центральные учреждения не нарушали воли партии...

Мы должны воспитывать себя не в направлении культа личностей, хотя бы действительно заслуженных, старейших и лучших, а в направлении критического отношения к действиям всякого рода руководителей. У нас может быть только один культ — культ социал-демократизма, один бог — победа пролетариата. Только во имя этого бога мы имеем право и мы обязаны:

Не прощать никого, не щадить ничего».

Тревожные дни августа и сентября отчаянно трудного 1904 года, дни, заполненные напряженной и вдохновенной работой, остались в памяти Михаила Степановича счастливейшими днями его жизни.

Ленин, которого он только что встретил, узнавая ко-

торого проникался все большим к нему уважением, все большей любовью, все большим преклонением,— открылся ему во всем величии своей гениальной натуры.

Счастьем было заслужить доверие такого человека; счастьем вдвойне — получить от него партийное задание; счастьем втройне — выполнять это задание, занимаясь любимым литературным трудом.

Михаил Степанович всегда считал и говорил, что встречей с Лениным началась лучшая часть его жизни, «та часть, которую можно назвать ленинской». Начал он эту лучшую часть своей жизни по-боевому, с пером Галерки в руке.

Боевые брошюры Михаила Степановича Ольминского хорошо послужили делу партии. Они сыграли огромную роль в разоблачении мещанского двоедушия партийных аристократов, основоположников гнилого меньшевизма.

Социал-демократы, работавшие в России в глубоком подполье, с захватывающим интересом прочитывали язвительные памфлеты Галерки, которые помогали им разобраться в существе внутрипартийных разногласий и содействовали росту их политической сознательности.

Острое перо Галерки помогало рядовым членам партии распознать правду Ленина.

Редактор «Правды»

1

За окном хмурилась мокрая петербургская осень. Михаил Степанович сидел за своим редакторским столом и, поеживаясь от стылой сырости, читал передовицу завтрашнего номера. Вдруг остро заныла застуженная еще в сибирской ссылке нога.

«Да, Петербург не Женева! — пробормотал про себя Михаил Степанович, отодвинул статью, вышел в прием-

ную и попросил круглолицую Машеньку — привратницу, курьера, связную, а в случае спешной надобности и корректора — принести стакан горячего чая. Со стаканом в руке вернулся к своему столу и, прихлебывая приятно обжигающий чай, снова углубился в передовицу.

Вошел секретарь редакции, коренастый и приземистый. Еще с порога сказал:

— Хочу вас обрадовать, Михаил Степанович.

Редактор оторвался от передовицы, поднял голову:

— Чем же, мой дорогой?

Михаил Степанович любил этого энергичного молодого человека и всегда был с ним ласков, не замечая, конечно, что в ласковости этой сквозила покровительственная нотка, вполне, впрочем, естественная со стороны человека пятидесятилетнего по отношению к двадцатидвухлетнему юноше.

— Пришло письмо из Кракова от Владимира Ильича,— сказал секретарь редакции.— Очень хвалит вашу статью в номере девяносто восьмом. Вот, взгляните: «Пользуюсь случаем, чтобы поздравить товарища Витимского...»

— Нет, вы уж позвольте, голубчик,— вежливо, но настойчиво перебил его Михаил Степанович,— я с самого начала, по порядку...

И когда секретарь редакции вышел, оставив письмо па столе, Михаил Степанович сделал пометку на полях редактируемой им статьи, отложил ее в сторону и после этого обратился к ленинскому письму. Быстро пробежал глазами первые строки, в которых Ильич вторично сообщал редакции адрес крайне нужного зарубежного корреспондента. Далее Владимир Ильич просил по возможности быстрее переслать ему в Краков не доставленные своевременно номера петербургских газет. (Ох уж эти молодые люди, еще забывчивее нас, стариков!..— и Ми-

хаил Степанович сделал пометку в настольном календаре.)

А вот и о его статье:

«Пользуюсь случаем, чтобы поздравить т. Витимского (надеюсь, вас не затруднит передать это письмо ему),— Владимир Ильич, как всегда, точен в соблюдении правил конспирации: прочитав эту фразу, кто может подумать, что Витимский работает здесь же в редакции «Правды»! — с замечательно удачной статьей в полученной мной сегодня «Правде» (№ 98). Чрезвычайно кстати взята тема и разработана в краткой, но ясной форме превосходно.— Впору и голове закружиться!.. Получить такую оценку от Ленина, у которого не в обычае разбрасываться похвалами, дело незаурядное.— Хорошо бы вообще от времени до времени вспоминать, цитировать и растолковывать в «Правде» Щедрина и других писателей «старой» народнической демократии. Для читателей «Правды» — для 25 000 — это было бы уместно, интересно, да и получилось бы освещение теперешних вопросов рабочей демократии с иной стороны, иным голосом».

А тут Владимир Ильич словно подслушал самые заветные его мысли... Ему-то Щедрин с юных лет был безмерно дорог. Из всех могучих русских писателей выделял он его, преклоняясь перед его выстраданной любовью к народу, воодушевляясь его ненавистью и презрением к кровососам всех рангов, паразитирующим на теле народа, и к властям предержащим, оберегающим кровососов от народного гнева. И восхищался писательским мастерством, блеском и разящей силой щедринской сатиры.

В конце письма Владимир Ильич спрашивал:

«Какой тираж «Правды»? Не думаете ли, что была бы полезна ежемесячная статистика, хотя бы краткая (тираж, название города и района). Какие могут быть соображения за то, чтобы не печатать ее. Если нет особых соображений, то следовало бы, мне кажется, печатать.

Чуть не забыл. Мы получили ряд жалоб из разных мест заграницы, что ни при подписке, ни при посылке денег за особые номера «Правда» не приходит. Я не получаю правильно теперь. Значит, несомненно, в экспедиции не все в порядке. Пожалуйста, примите меры поэнергичнее. Посмотрите сами письма из-за границы о подписке и добейтесь толку...»

Михаил Степанович всегда, еще с первых дней знакомства с Лениным, поражался его организаторскому гению. И какой-то особой, можно сказать, сверхъестественной его прозорливости и деловитости. В любом партийном деле он не гнушался никакими, даже самыми малыми мелочами. Точнее сказать, в любом партийном деле для него не было мелочей. А уж тем более во всем, что было связано с «Правдой».

«Правда» была любимым детищем Ленина. Мечту о ней — о политически зрелой и авторитетной ежедневной рабочей газете — он вынашивал долгие годы.

К осуществлению этой мечты Владимир Ильич шел, создавая «старую» «Искру», затем, после ее меньшевистской демобилизации, создавая большевистские органы «Вперед» и «Пролетарий», и, наконец, последним шагом на этом пути был выпуск вместо еженедельной «Звезды» ежедневной «Правды».

На всем этом долгом и многотрудном пути Михаил Степанович Ольминский был ближайшим соратником Ленина. Иначе и быть не могло. Как и для Ленина, для Михаила Степановича дело партии было делом жизни. Когда после совещания 22-х Владимир Ильич поставил как главную из очередных задачу создания большевистской газеты, сразу же встал вопрос: где взять денег хотя бы на выпуск первых номеров? Вопрос казался неразрешимым: партийная касса была в руках Носкова и компании. Михаил Степанович достал из жилетного кармана золотые часы — единственную ценную вещь, каким-

то чудом сохранившуюся после трудных месяцев эмигрантских скитаний, и молча положил на стол. Его порыв захватил всех. Воровский накануне получил гонорар из какого-то парижского журнала. Он подошел к столу и тоже молча выложил деньги. Вывернули карманы и остальные. Общими усилиями собрали около тысячи франков. Прикинули: хватит на два с половиной номера.

С тем и начали.

Михаил Степанович по настоянию Ленина вошел в состав редакции большевистской газеты «Вперед» и сразу же стал там особо доверенным лицом: когда Ленину случалось отлучаться из Женевы, например в Лондон на Третий съезд партии, весь редакционный воз целиком оставался на плечах Михаила Степановича.

Третий съезд партии в специальной резолюции одобрил деятельность газеты «Вперед» и выразил благодарность ее редакции. На базе газеты «Вперед» съезд создал Центральный орган партии, назвав его «Пролетарий». Редакция осталась в том же составе: Ленин, Ольминский, Воровский, Луначарский. Таким образом, «Пролетарий» сохранил полную преемственность от первой большевистской газеты «Вперед».

И порядки в редакции сохранились те же: Ленин с утра работал в библиотеке; оттуда он приносил статьи и заметки, написанные в синих ученических тетрадях. Все подготовленные материалы, в том числе и написанные Владимиром Ильичем (кстати, случалось, что Владимир Ильич писал ту или иную статью с кем-либо из редакторов, чаще с Ольминским или Воровским), обязательно прочитывались всеми редакторами и обсуждались. К мнению каждого ответственный редактор внимательно прислушивался.

Михаил Степанович, кроме всего прочего, был признанным авторитетом по части стилистики. И его замечания безропотно принимались всеми сотрудниками ре-

дакции; Владимир Ильич подавал тут пример всем остальным. И так как именно у Михаила Степановича был самый строгий редакторский карандаш, на него была возложена обязанность править все корреспонденции с мест. К этой своей обязанности, как и к любой иной, возложенной на него, Михаил Степанович относился предельно добросовестно. Правда, кто-то из друзей, кажется Лепешинский, наблюдая за беспощадным редакторским карандашом Ольминского, сказал однажды, что после его правки от статьи остается только замыкающая точка.

Но Михаил Степанович запротестовал и тут же опроверг его «гнусную клевету». И показал на примере. В корреспонденции описывалась демонстрация в городе Твери. Заканчивалась она такой фразой: «Явившаяся на место происшествия местная полиция арестовала восемь человек демонстрантов».

— Что скажете по поводу этой фразы? — спросил Михаил Степанович Лепешинского.

— Что же я могу сказать? Очень толково написано. Коротко и ясно,— ответил Пантелеймон Николаевич.

— Очень толково? Пустословие! Перевод бумаги! — резко возразил Михаил Степанович и пояснил: — Зачем писать «местная», разве в Твери может явиться полиция не местная, а, например, казанская? Дальше: «явившаяся на место происшествия» — да разве могла она арестовать, не явившись? А «полиция» — кто же арестует, кроме полиции? Наконец, «человек демонстрантов» — конечно, не коров и не прохожих. Вместо десяти слов, составляющих фразу, достаточно двух: «Арестовано восемь». Так-то вот, батенька мой...

2

Михаил Степанович знал цену похвалы Ленина. С уважением относился и к его укору, хотя переживал его всякий раз трудно, с болью. Но Михаил Степанович был

человек мужественный, умел смотреть правде в глаза, и каждый раз по зрелом, хотя подчас и трудном размышлении добирался до истины, не только разумом, но всем существом принимая ленинскую правду.

Время было сложное. Реакция торжествовала. Мутная пена ликвидаторства захлестывала партийные организации. И вряд ли кто еще, кроме Ленина, осознавал в полной мере, сколь опасна эта мутная пена. Вот и ему, верному соратнику Ленина, временами казалось, что слишком уж Владимир Ильич *гневен* в своем отношении к ликвидаторам. И получив месяца два тому назад статью Ленина, он (если честно признаться) устрашился беспощадной резкости ее тона и написал ему письмо, пытаясь убедить в том, что надо смягчить тон статьи.

Ленин немедленно ответил взволнованным письмом в редакцию газеты:

«Уважаемый коллега!

Получил Ваше письмо и письмо Витимского. Очень рад был получить от него весть. Но содержание его письма меня очень встревожило.

Вы пишете, и в качестве секретаря, очевидно, от имени редакции,— что «редакция принципиально считает вполне приемлемой мою статью *вплоть до отношения к ликвидаторам»*. Если так, отчего же *«Правда»* упорно, систематически вычеркивает и из моих статей и из статей других коллег упоминания о ликвидаторах?? Неужели Вы не знаете, что они *имеют* уже своих кандидатов? Мы знаем это *точно*. Мы получили об этом официальные сообщения из одного южного города, где есть депутат от рабочей курии. Несомненно, так же обстоит дело в других местах.

Молчание «Правды» более чем странно. Вы пишете: «редакция считает *явным* недоразумением» «заподозривание ее в стремлении к легализации требований платформы». Но согласитесь же, что вопрос это коренной, опреде-

ляющий весь дух издания, и притом вопрос, неразрывно связанный с вопросом о ликвидаторах. Не имею ни малейшей склонности к «заподозриваниям»; вы знаете *по опыту*, что и к цензурным вашим правкам отношусь я с громадным терпением. Но коренной вопрос требует *прямого ответа*. Нельзя оставлять сотрудника без осведомления, намерена ли редакция вести выборный отдел газеты *против* ликвидаторов, называя их ясно и точно, или *не против*. Середины нет и быть не может».

Эти серьезные упреки относились ко всей редакции (то есть и к нему тоже!), а вот следующий абзац — уже целиком адресован ему:

«Если статью «необходимо так или иначе напечатать» (как пишет секретарь редакции), то как понять Витимского «вредит гневный тон»? С которых пор *гневный* тон против того, что́ дурно, вредно, неверно (а ведь редакция «принципиально» согласна!), вредит ежедневной газете?? Наоборот, коллеги, ей-богу, наоборот. Без «гнева» писать о вредном — значит, скучно писать. А Вы сами указываете — и справедливо — на однотонность!»

Удивительное дело! Все, высказанное в этом кратком абзаце, и раньше было хорошо ему известно. И спроси его кто — сам так бы сказал, а вот поди ж ты... Смелости не хватило обидеть — и кого? — тех, которые замахнулись на самое святое — на единство партии, на самое ее бытие... И считал ведь себя правым... А вот теперь, после нескольких по-отечески строгих строк Владимира Ильича, словно пелена спала с глаз и все встало на свои места.

Очень он уважал и ценил Ленина, очень верил ему. Считал для себя большой честью быть у него в помощниках.

Кто-то из товарищей спросил однажды:

— А почему Витимский?

— Витим — приток Лены,— ответил ему Михаил Степанович.



Михаил Степанович отправил в набор выправленную им статью, потом снова взял оставленное ему секретарем редакции письмо и снова перечел воодушевившие его ленинские строки.

Статью свою в № 98, которая так понравилась Владимиру Ильичу, он помнил, можно сказать, наизусть. Но, не полагаясь на память, достал из шкафа подшивку «Правды» за прошлый месяц.

Вот эта статья: «Культурные люди и нечистая совесть».

Хорошая статья, толковая, написана от всего сердца. И с болью, и с гневом... с гневом же! А Владимиру Ильичу пенял на гневный тон... Не мне учить...

Надо перечесть, отыскать место, которое он заметил и одобрил... Не для того, чтобы самому перед собой вознестись. А понять, что удалось, что нет. Не для удовольствия, а для пользы...

«В последнее время много говорят о культурности и культурных людях.

Культурность или культурное состояние — это противоположность дикости и полудикости; это высшая форма жизни, и потому сама по себе вещь очень хорошая, к которой нужно стремиться.

Но всякую хорошую вещь можно запакостить, исказить.

И сейчас у нас слово «культурность» начинает пониматься в искаженном виде. То же, что лет 40—50 назад.

Пятьдесят лет назад, около 1861 года, было время, которое многими считается эпохой пробуждения совести среди высших классов в России. Но скоро совесть оказалась не ко двору и заменилась проповедью «культурности»: явились «культурные люди».

Чуткий писатель того времени Щедрин тотчас отметил это; он писал:

«Каким это образом культурный человек вдруг, словно

из земли вырос?.. И даже заслуги особенные выдумали, которые об культурности несомненно свидетельствуют: «Я, мол, из тарелки ем, а Иван мой из плошки». Глуп-глуп, а культурность свою очень тонко понимает. У меня, говорит, в деревне и зальце в домике есть, и палисадничек, и посуда, и серебрецо, и сплю я на матраце, а не на войлоке — сейчас видно, что культурный человек живет! А мужик что! Намеднись у нас на селе у крестьян мальчику тараканы нос выели, а у меня, брат, тараканы только на кухне живут!»

Вот это и понравилось Ленину, что к месту приведено. Да и написано-то как! Вот как писать надо!..

«В эпохи общественного подъема, как известно, ценятся в человеке такие качества, как ум, способности, знания, умение, честность, солидарность, человечность, самоотверженность — вообще все то, что возвышает человека. Это и есть культурность в лучшем смысле слова.

Но теперь, при упадке, на место истинной культурности буржуазная интеллигенция подставляет буржуазную сытость. Возвышающие человека качества оказываются не нужны ей. И на теперешней «культурности» объединяются глупый и умный, честный и негодяй, бывший борец и предатель, бывшие левые и черносотенцы: были бы только деньги на сытую жизнь... Цепляясь за такую культурность, интеллигент быстро лезет в гору по части приобретения денег и в то же время по части продажи своего времени, своей интеллигентности, своей совести. Про таких «культурных людей» Щедрин писал:

«Сегодня приятель, а завтра разрешил ему Солитер (генерал) за каблук сапога своего подержаться — он уж от вчерашних друзей рыло воротит»...

Вот почему в настоящее время если слышишь, как интеллигент кичится культурой или фыркает на некультурность рабочих и крестьян, то знайте: этот человек или

уже совершил измену, или замыслил ее в сердце своем и готов продаться за сытую жизнь».

Конечно, эти вот строки заметил он... Именно за эти строки и похвалил статью...

«А рабочим совсем не к лицу повторять эти лицемерные речи о культуре людей с нечистой совестью; их дело — думать о сознательности и солидарности. Тогда придет к ним сама собой истинная культурность».

Михаил Степанович вспомнил, как заволновался он, когда ему стало известно, что его прочат в редакторы новой, да еще к тому же ежедневной газеты. Он и гордился, и сомневался, по плечу ли ему. Но Владимир Ильич сказал, что Галерка должен быть в составе редакции обязательно. Доверие Ленина вдохновляло и обязывало. Михаил Степанович трудился, что называется, не покладая рук, не чураясь никакой, даже самой черной работы. И много успевал писать сам.

Дел было очень много. Штат редакции был поистине мизерный, и каждому из сотрудников, включая и редакторов, приходилось отвечать за троих, если не за десятерых. И все же работалось легко, потому что все время ощущал на плече отеческую руку Владимира Ильича.

3

В этот солнечный майский день Михаил Степанович пришел в редакцию несколько позже обычного. Накануне пришлось засидеться далеко за полночь, готовя в набор очень интересную, присланную из Перми статью о забастовке на казенном заводе. Статья была очень ко времени и к месту, но на тему весьма «опасную», и пришлось немало потрудиться над ней, пока она приоб-

рела вид достаточно благопристойный, чтобы протиснуться сквозь цензурные рогатки.

В редакции круглолицая Машенька сказала Михаилу Степановичу, что его дожидается какой-то человек, судя по всему — приезжий.

— Сейчас, вот только отправлю в набор,— сказал Михаил Степанович.

Машенька подошла поближе и шепнула на ухо:

— По-моему, из Кракова...

— Машенька, голубушка, отнесите в наборную,— Михаил Степанович передал ей статью и сам поспешно устремился в кабинет.

Там, сидя на кургузом диванчике, дожидался его человек лет двадцати восьми — тридцати, в новенькой, хорошо сшитой тройке, чернявый, с темными глазами.

— Черномазов,— представился он Михаилу Степановичу,— а по партийной кличке Мирон... Может быть, слышали? — добавил он, учтиво улыбаясь.

Михаил Степанович вспомнил, что о Мироне упоминалось в одном из писем Каменева.

— Из Парижа изволили прибыть? — спросил Михаил Степанович, и сам подивился чопорности своего обращения; вероятно, повлияло щегольское обличье приезжего.

Но Черномазов словно не заметил подчеркнуто официальной вежливости Михаила Степановича.

— Сейчас из Кракова,— уточнил он.— А в Краков, действительно, из Парижа. Да вы, наверное, получили уже письмо от Льва Борисовича. Он должен был предварить о моем приезде.

— Такого письма я не получал,— сказал Михаил Степанович.

— Значит, получите,— бойко возразил Черномазов и, порывшись в карманах, извлек какую-то бумажку.

Протянул ее Михаилу Степановичу:

— Захватил на всякий случай. Мало ли что. Почерк Льва Борисовича знаете?

Почерк Каменева Михаил Степанович знал. Записка была без подписи, но писана, несомненно, им. В записке сообщалось, что товарищ Мирон направляется в распоряжение редакции, о чем известно в Кракове.

— Неосторожная записка,— сказал Михаил Степанович.— Попадет в руки полиции, нам лишние неприятности.

— Не извольте беспокоиться,— усмехнулся Черномазов.— На сей счет ученый. С полицией приходилось дело иметь. На заводе Лесснера секретарем больничной кассы изрядное время состоял. Сами понимаете, должность такая, что все время на глазах у полиции. А теперь, какие могут быть претензии у полиции к потомственному почетному гражданину? Вид на жительство у меня отменный.

Он вынул новенькую паспортную книжку и показал Михаилу Степановичу.

Паспорт был надежный. Михаил Степанович понял это с первого взгляда. И все же бойкая самоуверенность Черномазова оставила неприятное впечатление. Правда, Михаил Степанович тут же укорил себя в черствости, излишней подозрительности и даже стариковской сварливости.

И, как бы заглаживая свою вину перед вновь прибывшим товарищем, теперь уже сотрудником «Правды», взял его под руку и повел знакомиться с остальными работниками редакции.

В редакции нового сотрудника приняли хорошо. И веселый его взгляд, и задорная бойкость, и речивость пришлись по душе. Озабоченных лиц в редакции и без него хватало. Импонировало и то, что молодой еще человек предпочел безопасному существованию в Париже изобилующую хлопотами и тревогами жизнь партийного

литератора, жизнь беспокойную, под неусыпным надзором царской охранки.

В записке Льва Борисовича было сказано достаточно ясно — в Кракове известно. Это значило, что Черномазов направлен на работу в редакцию «Правды» по указанию Ленина — ее главного редактора. Михаилу Степановичу неизвестно было, знал ли Владимир Ильич лично нового сотрудника, или положился на чью-либо рекомендацию, возможно того же Каменева, но во всяком случае Черномазов был у Ленина в Кракове и получил от него «добро» на работу в редакции.

Поэтому Михаил Степанович не медля сообщил о прибытии нового работника редакции Григорию Ивановичу Петровскому.

На следующий же день Григорий Иванович приехал в редакцию.

— Хочу взглянуть на новичка,— сказал он Михаилу Степановичу.— Фамилия у меня на слуху. Был один Черномазов, помнится, на заводе Лесснера...

— Он упоминал этот завод вчера в разговоре,— сказал Михаил Степанович.

— Значит, он самый,— заключил Григорий Иванович.— О нем хорошо отзывались наши товарищи. Ну это я еще проверю, как и когда ушел он с завода. А пока познакомьте меня с ним.

Михаил Степанович представил издателю газеты нового сотрудника редакции и оставил их вдвоем в редакторском кабинете. У Григория Ивановича глаз точный, и он умеет разговорить собеседника.

— Это тот самый Черномазов,— сказал Петровский Михаилу Степановичу после разговора с новым сотрудником редакции.— Как он оказался в Париже, я выясню, но, судя по всему, человек он надежный и

работник будет полезный. Немного горяч, на первых порах присматривайте за ним, чтобы не испортил борозды.

— Присмотрим, не беспокойтесь,— улыбнулся в бороду Михаил Степанович.

Уже с первых дней стало ясно, что чем-чем, а ленностью нового сотрудника никак не попрекнешь. Новичок охотно брался за любую работу. И не только за литературную или редакторскую. Он даже бегал за гранками в типографию, помогал экспедитору упаковывать и рассылать по адресам газету. И как-то очень быстро, можно сказать с ходу, перезнакомился со всеми и в редакции и в типографии. Сразу запомнил, как кого зовут. Своих ровесников и всех, кто моложе его, называл ласково: Маша, Петя, Ваня; всех, кто постарше,— только по имени-отчеству.

Себя просил называть Мироном, а после одной бойко написанной заметки о грубом обращении мастера с молодыми ткачихами утвердилась за ним кличка Свой. Так была подписана замеченная всеми заметка.

Михаил Степанович, высоко ценивший трудолюбие и преданность делу, не мог не заметить усердия новичка, и это сказалось на отношении к нему: постепенно перестал именовать его про себя «парижанином» и принял — тоже про себя — уже вошедшую в обиход одобрительную кличку Свой. Вслух же называл его Мироном Егоровичем.

Помогал ему постигать всю премудрость редакционной работы. Обучал трудному искусству редактирования. Особенно трудному потому, что надо было эзоповскими оборотами маскировать истинное содержание статей и корреспонденций.

Однажды между ними даже разгорелся довольно-таки жаркий спор.

— У этого самого Эзопа, как я понимаю, не было другого выхода. Скажи что-нибудь не так, сразу башку оттяпают. Но мы-то легальная, дозволенная правительством газета. Должны писать все, как есть! — горячился Черномазов.

Михаил Степанович объяснял терпеливо и обстоятельно:

— Легальная — да. Дозволенная правительством — безусловно. Но газета, правительству нежелательная. И на нас недремлющее око цензуры нацелено особенно пристально. И то, что в любой кадетской газете, даже в меньшевистском «Луче», пройдет, нам нипочем того не пропустят. Сразу штраф, или конфискация номера, или запрет газеты. Вот и крутимся, дорогой Мирон Егорович. Вот и пропалываем статьи, чтобы не дать поживы господину цензору.

— Но позвольте, Михаил Степанович,— возразил Черномазов.— Стало быть, вы загоняете истинный смысл статей так глубоко, чтобы никакой цензор не догадался? Так?

— Приходится...— со вздохом подтвердил Михаил Степанович.

Черномазов засмеялся как-то очень уж весело. Потом резко оборвал смех, нахмурился и заговорил уже с откровенной злостью в голосе:

— Но если так, то что же получается? Подумайте сами, Михаил Степанович! Цензор, умный и образованный, поднаторелый в своем деле, не догадается, не поймет, а рабочий, темный и малограмотный, должен догадаться и понять? Какой смысл выпускать такую газету? Кому она нужна?

Шевельнулась мысль — не слишком ли много гнева в голосе, не наигрыш ли? Был бы рабочий темный и малограмотный, а то — профессиональный революционер, прошедший выучку подполья и эмиграции. Отнес за

счет молодости лет и порывистости натуры. И продолжал все с тем же несгибаемым терпением, но с большею долей строгости в голосе:

— Вы погорячились, Мирон Егорович... Ну что ж, и я в ваши годы, случалось, выходил из себя. Но вы, дорогой мой, через край хватили. Может быть, пошутили? Только такими вещами не шутят. Какой смысл в нашей газете? Огромный смысл. Легальная газета не отменяет нелегальной борьбы и не мешает нисколько подпольной работе. Напротив, легальная газета помогает нам распространять свое влияние на широкие массы рабочих, не готовых еще к нелегальной, подпольной борьбе.

Он остановился и поверх очков окинул строгим взглядом нахмурившегося Черномазова. Помолчал минуту, словно ожидая возражений или оправданий, не дождался и продолжил свое назидание:

— И легальная и подпольная деятельность — две формы одной и той же партийной работы. Все равно что две руки у человека, и обе нужны. Вам не по душе легальность нашей газеты. Стало быть, оторвать одну руку. А вот ликвидаторы возражают категорически против всех форм нелегальной борьбы. Другую руку норовят оторвать... Вовсе без рук оставите партию и рабочий класс?

Черномазов молчал, наверное коря себя, что напросился на проповедь.

Но Михаил Степанович решил довести разговор до логического конца:

— Чтобы больше не возвращаться к этому разговору, позвольте и мне задать вам вопрос: как же это вы, дорогой мой, изъявили согласие работать в легальной газете, полагая в то же время, что легальная газета никому не нужна? Зачем тогда было ехать из дальних стран? Или, может быть, не по доброй воле ехали? Может быть, не по согласию, а лишь повинуясь дис-

циплине партийной? Объяснитесь, дорогой мой, сделайте милость.

Черномазов попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривенькой. Не очень убедительно прозвучало и объяснение его, что работу в редакции Центрального органа партии считает большой честью для себя, а все его сомнения вызваны лишь желанием видеть газету как можно более боевой.

— Ну вот и хорошо,— сказал Михаил Степанович, выслушав его,— сделать нашу газету как можно более боевой — это общее наше стремление.

4

Черномазов по-прежнему с примерным усердием справлялся с недавно возложенными на него весьма хлопотными обязанностями секретаря редакции.

У Михаила Степановича не было случая остаться недовольным его работой. Новый секретарь редакции был исполнителен и аккуратен и сверх того ухитрялся выкраивать время для чисто литературной работы.

И все же после того памятного обоим разговора осталась у Михаила Степановича какая-то не поддающаяся логическому осмыслению настороженность.

Он не мог (да и не хотел) забыть со злостью выкрикнутых фраз: «Какой смысл выпускать такую газету? Кому она нужна?..» И пусть Черномазов тут же повинился и взял свои слова обратно, пусть ежедневно и ежечасно доказывал на деле, что газетою дорожит, все равно настороженность оставалась, хотя она порой и раздражала его самого, и Михаил Степанович в такие минуты склонен был относиться к ней, как к ничем не оправданной стариковской причуде.

Но как бы то ни было, за каждым шагом Черномазо-

ва Михаил Степанович следил предельно внимательно. И с особой дотошностью вычитывал каждую написанную Черномазовым статью или заметку.

Впрочем, особой дотошности и не требовалось. Все было на виду. Бойкость и хлесткость выпирали из каждой его строки. Видать, много горечи и злости накопилось у человека за годы подполья и эмигрантских скитаний. Может быть, и сам не замечал, как выплескивались они на бумагу. Все это Михаил Степанович мог понять. По себе знал, как зудит рука, когда приходится удерживать ее...

Но газета, ежедневная рабочая газета, с такими превеликими трудами созданная и столь необходимая партийному делу,— слишком дорогой, поистине бесценный инструмент, и жертвовать ею ради хлесткой и бойкой фразы не просто грубая ошибка, но преступление.

И Михаил Степанович беспощадно выбрасывал все, что при желании можно было истолковать как оскорбление властей, что должно было повлечь за собой цензурные преследования.

Черномазов прибегал взволнованный и огорченный, пытался отстаивать, упрашивал и умолял, как-то раз пригрозил даже апеллировать в Краков, но Михаил Степанович вежливо и вместе с тем твердо отвергал все его домогательства и никогда не восстанавливал ни единой буквы из вычеркнутого.

— Уж зачеркнули бы все сразу, крест-накрест! — вырвалось как-то у Черномазова.

— Нет, отчего же,— спокойно возразил Михаил Степанович,— в заметке приводятся ценные факты и есть даже дельные мысли. Это все оставлено, я только пену снял.

И все же, как ни оберегались, бдительное цензурное око сыскало крамолу, и последовало распоряжение полиции конфисковать номер.

Михаила Степановича в тот день не было в редакции. Он лежал на квартире у Бонч-Бруевича, терзаемый приступом вывезенного из Якутской ссылки ишиаса.

Ему позвонили, и он тут же приехал. Схватил возвращенный из цензуры оттиск и на второй полосе обнаружил абзац, жирно заштрихованный красным карандашом... Статья Черномазова. Тот самый абзац, который он вычеркнул, редактируя статью.

— Почему? — спросил он Черномазова.

Торопливые и сбивчивые объяснения Черномазова сводились к тому, что без этого абзаца статья получалась очень уж беззубой и постной.

— Почему без моего ведома?

— Вас не было,— как бы даже с сознанием своей правоты возразил Черномазов.

— Выслушайте меня внимательно,— сказал ему Михаил Степанович.— Еще одно подобное самоуправство, и я добьюсь, чтобы вас... убрали из редакции.

Черномазов вышел, а Михаил Степанович сидел за столом, уставившись невидящими глазами в красное пятно на второй полосе, и думал, не слишком ли мягкотело поступил, может быть, следовало удалить строптивого сотрудника уже сейчас, не дожидаясь второго случая...

В приотворенную дверь кабинета из приемной доносились голоса. Кажется, явилась полиция. Черномазов возмущенно спорил с кем-то.

— Па-апрашу выражаться осторожнее!

Это, конечно, полицейский офицер.

— Не запугаете! — кричал на него Черномазов.

Пришлось выйти в приемную и утихомирить его. Нет, все-таки, он не робкого десятка... этого у него не отнимешь.

Но слишком уж нервный, набросился на полицейско-

го чуть не с кулаками. Такое, с позволения сказать, усердие со стороны сотрудника партийной газеты вовсе неуместно. Хорошо еще, что попался сверхфлегматичный полицейский начальник, отмахнулся от него, как от назойливой мухи, только и всего. А преотличный номер газеты пропал. Да и убытки такие — больше полтысячи — нам не по карману. И так еле концы с концами сводим. Конечно, Черномазов все это понимает. Потому и взбеленился и полез на рожон. Только этим дела не поправишь. Хотелось бы надеяться, что извлечет урок на будущее...

На следующий день в редакцию приехал Петровский, расстроенный и раздосадованный.

— Как же это у вас вышло так негладко? — спросил он у Ольминского.

— Мой недогляд,— ответил Михаил Степанович.— Конечно, мне надо было распорядиться, чтобы сверстанные полосы принесли на подпись ко мне на квартиру. А я доверился неопытному еще работнику.

И рассказал, как было дело.

Григорий Иванович вспылил:

— Причем тут неопытность? Грубейшее самоуправство! И грубейшее нарушение партийной дисциплины! Позовите его сюда, Михаил Степанович, и оставьте меня с ним. Я с ним как издатель потолкую. Он, небось, решил, что если из Парижа, да через Краков, так ему и черт не брат!

— Очень-то круто не надо бы,— заступился Михаил Степанович.— Я уже отчитывал его. Он понял свою оплошность. И основательно прочувствовал. Кстати, когда полиция пришла, держался без робости, даже наоборот.

— Это как же наоборот? — заинтересовался Григорий Иванович.

Михаил Степанович рассказал о стычке Черномазова с полицейским офицером.

— А это гусарство нам совсем ни к чему,— сказал, нахмурясь, Григорий Иванович.— Власть пока не в наших руках. Приходится быть тихонькими. А злость свою в работу перегоняй. Ну, это я ему тоже объясню.

Беседа затянулась не менее чем на полчаса. Из редакторского кабинета Черномазов вышел насупившись. Впрочем, с желчною улыбочкой на губах. Но едва встретился взглядом с Михаилом Степановичем, улыбочка потухла.

Григорий Иванович, уходя, так отозвался о секретаре редакции:

— Из молодых, да ранний. Сперва было на дыбы поднялся. Но с ним есть смысл повозиться. С характером, стало быть, может получиться дельный работник. Но пока, Михаил Степанович, глаз с него не спускайте.

А Черномазов после ухода Петровского подошел к Михаилу Степановичу и сказал:

— Я сперва обиделся на Григория Ивановича и даже надерзил ему. Но теперь, понимаю, что был не прав. И я благодарен ему за товарищеское, пусть строгое, внушение. При случае скажите ему об этом.

По мнению Михаила Степановича, это было мужественное и честное признание, и он от всего сердца простил Черномазову его служебный проступок и подумал даже, что был несправедлив к нему.

5

Но вскоре, недели через две или три, произошло незначительное само по себе событие, точнее сказать, не событие даже, а вовсе несущественный эпизод, который, однако же, заставил Михаила Степановича серьезно призадуматься.

В середине дня он вышел в приемную за какой-то

справкой к секретарю редакции. Черномазов не сидел за своим столом, а находился в дальнем углу комнаты и, стоя на раздвижной лесенке, отыскивал что-то на самой верхней полке огромного редакционного книжного шкафа.

Михаил Степанович не стал окликать его, отвлекать от поисков и, остановившись посреди приемной, заговорил о чем-то с Машенькой.

В это время входная дверь в приемную открылась и вошли двое: полицейский офицер в чине поручика, высокий, сухощавый, с перетянутой ремнем осиной талией и с запоминающимся лицом кавказского типа, и следом за ним некто в штатском, пониже и поплотнее, с круглой, совершенно невыразительной физиономией. Окинув опытным взглядом приемную и безошибочно определив, кто есть кто, штатский подошел к Михаилу Степановичу, показал ему свой документ и сказал, что он вместе с господином поручиком должен осмотреть все помещения редакции.

— Позвольте узнать, какова причина обыска? — осведомился Михаил Степанович.

— Не обыска, осмотра,— поправил его филер.

— Ну, допустим, осмотра?

— Получены сведения, что в вашей редакции находятся лица, не имеющие вида на жительство в Санкт-Петербурге,— строго и почти торжественно произнес филер.

— Можете проверить. Свидетельствую, что таковых лиц в редакции нет,— сказал Михаил Степанович и подáл филеру свой паспорт.

— С вами мы побеседуем, когда закончим осмотр,— сказал до того молча слушавший их полицейский офицер каким-то странным, резко гортанным голосом.

Черномазов оглянулся на этот резкий возглас. Михаил Степанович стоял лицом к нему и хорошо видел, как

насторожился секретарь редакции при виде полицейского офицера, точнее сказать, при виде полицейского мундира, так как и офицер и филер стояли к нему спиной.

Михаил Степанович подумал еще, как бы Черномазов не ввязался опять в какое-нибудь препирательство с полицией, но ему и в голову не могло прийти, сколь странно поведет себя секретарь редакции.

Все дальнейшее произошло так стремительно, что никто из присутствующих не успел и слова произнести.

Полицейский офицер, обратив внимание на пристальный взгляд Михаила Степановича, направленный поверх его головы куда-то в глубь комнаты, оглянулся, и тогда Черномазов увидел лицо поручика. Черномазов вскинул руки, как бы пытаясь закрыться ими, но от резкого движения потерял равновесие и свалился с лесенки. Видно, сильно ушибся, но тут же проворно вскочил на ноги и быстро скрылся за дверью, ведущей во внутренний коридор, соединяющий редакцию с типографией.

— Вот этот господин, вероятно, без надлежащего вида на жительство,— сказал филер, глянув довольно-таки ехидно на Михаила Степановича.

— Не тревожьтесь,— спокойно возразил Михаил Степанович,— это Мирон Егорович Черномазов, секретарь нашей редакции. Паспорт его у меня, и я готов предъявить его вам по первому требованию.

— Он у вас всегда такой... нервный? — с усмешкой спросил полицейский офицер.

И Михаил Степанович с великим трудом удержал себя от того, чтобы не ответить резкостью на насмешку полицейского. Да, сказал бы он ему,— в этом государстве, где за каждым порядочным человеком охотятся, как за зайцем, нетрудно стать нервным. И еще бы он хотел сказать господину офицеру, что недалеко время, когда

нервничать придется ему и ему подобным. Многое можно было бы сказать господину полицейскому офицеру, но... лучше все же было не говорить ничего.

— У них, ваше благородие, работа тоже очень даже беспокойная,— вроде бы сочувствуя и Михаилу Степановичу и этому упавшему с лестницы и внезапно исчезнувшему человеку, заметил филер.

И от этого притворного сочувствия Михаилу Степановичу стало совсем тошно.

— Так чем же могу служить вам, господа? — обратился Михаил Степанович к полицейскому офицеру.

— Благоволите предъявить списки на ваших служащих, а мы сверим с наличием,— ответил филер.

— Таких списков у меня нет, господа,— сказал Михаил Степанович.

— Как же так-с? — пожал плечами филер.— Списки полагается иметь.

— Списки, конечно, имеются, но не у меня,— возразил Михаил Степанович.

— У кого-с?

— У издателя газеты.

— Разве не вы-с?

— Я только один из редакторов.

— Кто же издатель? — спросил филер, хотя видно было, что это ему отлично известно.

— Депутат Государственной думы господин Петровский,— ответил Михаил Степанович.

— Здесь изволят проживать-с?

— Нет, не здесь.

— Благоволите адрес.

— Мне неизвестен. Обратитесь в Государственную думу или к господину градоначальнику.

Незваные гости проверили паспорта у всех сотрудников редакции. Филер столь тщательно, даже детошно

исследовал паспорт Черномазова, что поручик, тронув своего подручного под локоть, сказал:

— В порядке.

И Михаилу Степановичу показалось, что при этих словах господин поручик усмехнулся в жесткие усы. Впрочем, может быть, только показалось.

— Все ли в полном порядке? — спросил Михаил Степанович, получая паспорта из рук филера.

— И вы, стало быть, заботу имеете? — не преминул подкусить полицейский служитель.

— Я должен поставить в известность о вашем визите господина Петровского, и он, конечно, задаст мне этот же вопрос.

— Можете сказать господину Петровскому, чтобы не беспокоился,— сказал полицейский офицер и, откозыряв, вышел. Филер — следом за ним.

6

Падение Черномазова с раздвижной лесенки отозвалось Михаилу Степановичу бессонной ночью.

Было о чем поразмыслить. Черномазов испугался, узнав полицейского офицера. Именно узнав. О том, что пришла полиция, он понял из первых же слов филера. Но само по себе посещение полиции его не встревожило. Насторожился и встревожился Черномазов, только когда услышал голос офицера. Но он еще не был уверен, тот ли это офицер, которого следует опасаться. Потому и вглядывался в его фигуру. Когда же полицейский офицер повернулся к нему лицом, Черномазов его узнал. И испугался, панически испугался, как бы тот, в свою очередь, не узнал его. Испугался до такой степени, что полностью утратил самообладание.

Как иначе объяснить этот нелепый жест, когда пы-

тался прикрыть лицо руками?.. И это нелепое падение, и это почти мгновенное исчезновение?..

Почему он испугался? Паспорт у него свой. Из-за границы прибыл легально. Уезжал за границу тоже легально. Впрочем это в данном случае несущественно. Если бы дефект в паспорте или нелегальный переход границы, то опасался бы любого полицейского. Но Черномазову был страшен почему-то именно этот полицейский.

И полицейский офицер его узнал. Теперь Михаил Степанович был в этом уверен. И мало того, что узнал, но отнесся к Черномазову презрительно. Именно с такою усмешкой он бросил реплику вслед выскочившему из комнаты секретарю редакции. И такая же усмешка промелькнула у него, когда филер изучал паспорт Черномазова. Значит, полицейский чин не только узнал Черномазова, но и знал за ним что-то такое, чего даже по полицейским критериям следовало бы стыдиться.

Чего же должен был стыдиться Черномазов? И не просто стыдиться, а страшиться, чтобы тайное не стало явным. Тут было над чем поломать голову... Нельзя было упускать из виду и такое обстоятельство: полицейский офицер и виду не подал, что узнал Черномазова, и только по косвенным, так сказать, уликам — по усмешечке — можно было предположить, что Черномазов ему знаком. То есть получалось так: Черномазов страшился того, что полицейский офицер узнает его. И, как оказалось, не без оснований страшился, офицер действительно его узнал, но постарался, чтобы никто этого не заметил.

Черт знает что! Так можно додуматься до самых зловещих предположений.

И Михаил Степанович, поняв, что загоняет себя в тупик, решил завтра же созвониться с Петровским и по-

делиться с ним своими тревогами. Григорий Иванович не заставил себя долго ждать — приехал в тот же день.

— Любопытно...— сказал он, внимательно выслушав Михаила Степановича.— А вы ничего тут не приукрасили по писательской, так сказать, привычке?

— Все это, Григорий Иванович, настолько странно само по себе, что нет никакой надобности приукрашивать,— сказал Михаил Степанович.

— И что же вас больше всего беспокоит во всем этом? — спросил Петровский.

Михаил Степанович ответил не сразу.

— Чего он так испугался...— произнес он, наконец.

— А может быть, он и не пугался вовсе, а просто запнулся на лесенке? А потом смутился после падения, глупое все же положение.

— Я видел его лицо, у меня дальнозоркость,— возразил Михаил Степанович.

— И сильно, говорите, испугался?

— Очень сильно. Просто лицо исказилось.

— Любопытно...— еще раз повторил Григорий Иванович.— Говорили мне, была у него на Лесснере какая-то неприятность с полицией. Так тому уже лет десять прошло. Теперь-то к чему бы пугаться? Скорее всего, нелепость какая-нибудь. Но, как говорится, береженого бог бережет. Скажу, чтобы понаблюдали за ним. Я-то понимаю ведь, Михаил Степанович, какое вам на ум сомнение запало...

— Сомнений у меня нет,— запротестовал было Михаил Степанович.

— Вижу, вижу,— остановил его Петровский,— на вашем лице, как в книге, без ошибки прочесть можно... К вам одна просьба. Ему виду не подайте. Не спугните раньше времени.

После этой встречи с Петровским Михаила Степановича и на самом деле начали одолевать сомнения: не зря ли завел он этот разговор с Григорием Ивановичем и, как там ни говори, бросил тень на доброе имя человека?

И Михаил Степанович, как всегда предельно строгий и требовательный к себе, уже упрекал себя в излишней мнительности и неоправданной, недостойной в отношениях с товарищами недоверчивости. Ведь заподозрил же, не решаясь даже самому себе признаться в этом? Заподозрил!

А какие основания? Что вздрогнул, увидев неожиданно возникшего полицейского, и, пошатнувшись, упал с лесенки? Да сам-то он и постарше, и поопытнее, и попривык уже к полицейским визитам и все равно каждый раз при виде казенного мундира становится не по себе и даже вроде бы под ложечкой посасывает... Нехорошо.

И несколько дней ходил с неотступно тревожащим острым чувством вины перед незаслуженно обиженным товарищем.

7

Черномазов почувствовал заботливое и даже бережное отношение к нему редактора и не преминул сделать из этого полезные для себя выводы.

Статьи и заметки его день ото дня становились все более хлесткими. Но и редактор был настороже. И хотя Михаилу Степановичу очень не хотелось обижать усердного и работящего сотрудника, интересами дела он не мог поступиться. И редакторский карандаш правил черномазовские статьи и заметки бестрепетно и беспощадно.

Но Черномазов не сдавался без боя. Отстаивал упорно каждый абзац, каждую фразу. И вел себя подчас —

что немало удивляло Михаила Степановича — весьма вызывающе.

Не добившись уступок у Ольминского, сказал однажды, что обратится за помощью к другим редакторам и потребует коллегиального обсуждения.

— Не поможет,— сказал Михаил Степанович.

— А я уверен, что вы со своей сверхосторожностью останетесь при своем мнении против всех один-одинешенек,— заявил Черномазов.

— И того достаточно,— спокойно заметил Михаил Степанович.

И пояснил опешившему Черномазову, что ему, Ольминскому, предоставлено личное право приостанавливать публикацию любой статьи.

— Тогда я буду писать в Краков! — пригрозил Черномазов.

— А мне это право из Кракова и дадено,— с обезоруживающей добродушной усмешкой заметил Михаил Степанович.

Он все еще продолжал относиться к молодому и задиристому Черномазову снисходительно, даже сочувственно. И свои редакторские требования старался предъявлять в форме как можно менее унижающей достоинство и ущемляющей самолюбие автора.

Иначе сказать, по доброте сердечной, по мягкости своей натуры не желал обижать человека, тем более — подчиненного ему по службе.

Но Черномазов или не умел или не хотел этого понять. Уходил из редакторского кабинета раздосадованный и злой и в следующий раз приносил еще более задиристую статью, и Михаилу Степановичу приходилось часами корпеть над ней, чтобы сделать ее менее уязвимой.

Михаил Степанович пытался побеседовать по душам с младшим своим собратом. Но доверительного разговора

не получалось. Черномазов не желал принимать никаких резонов и упрямо стоял на своем.

— Какую бы я вам статью ни принес,— говорил он,— вы все равно будете править. Все равно станете смягчать. Мне и приходится писать злее. Если я напишу беззубо, да еще вы карандашом пройдетесь, тогда это уж не в «Правду» получится статья, а разве что в «Задушевное слово».

— Зачем же мне смягчать, если вы напишете добротную статью без всяких этих вывертов, выхлестов и завихрений? — спрашивал его Михаил Степанович.

— У вас одна забота: как бы чего не вышло, да как бы цензора не обидеть. Вы скоро собственной тени бояться станете,— дерзко отвечал Черномазов.

И уходил, чтобы последнее слово осталось за ним.

У Михаила Степановича стало складываться убеждение, что Черномазов ведет какую-то двойную игру. Неясно было лишь, какие он преследует цели? Сперва Михаил Степанович склонялся к мысли, что все дело в карьеристских поползновениях Черномазова, который хочет подмять под себя остальных работников редакции и стать в ней первым лицом. И, усмехаясь, говорил сам себе, что это еще полбеды.

Но, видно, дело было не только в личной амбиции Черномазова. Случилось так, что именно в это время Михаилу Степановичу пришлось несколько раз отлеживаться на квартире Бонч-Бруевича (своей у него не было) по причине уже начинавшейся у него в эти годы сердечной болезни.

В каждом из этих случаев отлучался он из редакции всего на два-три дня. И каждый раз Черномазов успевал тиснуть лихую статейку. Два раза «Правду» штрафовали, а на третий — конфисковали номер. Отнести все эти промахи Черномазова, повлекшие за собой столь тяжелые репрессии, только за счет его молодости и горяч-

ности никак нельзя было. Напрашивалась мысль о том, что ущерб газете наносится сознательно. Особенно утвердился в этой мысли Михаил Степанович после того, как Черномазов, воспользовавшись его отсутствием, 12 октября опубликовал свою статью «Совещание марксистов», грубо нарушив при этом все правила партийной конспирации. В статье подробно рассказывалось о состоявшемся в Поронино под руководством Ленина совещании Центрального Комитета РСДРП с партийными работниками, нелегально приехавшими из России.

Владимир Ильич, получив номер газеты с этой статьей, немедленно написал:

«В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ЗА ПРАВДУ»

Уважаемые коллеги!

Только что прочел № 8 и не могу удержаться, чтобы не выразить своего удивления по поводу помещения вами *такой* статьи, как «Совещание марксистов» и т. д.!! По-моему, это было верхом неразумия, и если автор «увлекся» по понятным причинам, то вам-то на месте нельзя не видеть невозможности этой статьи. Ради бога, не допускайте таких неосторожностей: вы *дьявольски* помогаете этим всем нашим врагам».

Михаил Степанович встретился с Петровским и прямо сказал ему:

— Поверьте мне, я уже давно работаю в газетах и журналистике и по статье вижу, кто как пишет, наш это человек или не наш. Черномазов именно такой человек, о котором нельзя сказать, что он наш.

— Что это вы так круто изменили мнение о нем? — спросил Григорий Иванович.

— Не очень круто,— возразил Михаил Степанович.— Сомнения, как вы знаете, много раз одолевали меня. Но я ведь тяжкодум. Да и опасаешься всегда, как бы ненароком напраслину на человека не возвести. А теперь уже

не в сомнениях дело. Сложилось убеждение: не наш человек. И поскольку убежден, прямо и говорю.

А через несколько дней после этого разговора с Петровским пришла от Ленина записка по поводу очередной черномазовской статьи.

Ленин писал в этой записке:

«*Редактору:* Плоха статья «Своего» в № 25. Хлестко и только. Ради бога, поменьше хлесткости. Спокойнее разбирать доводы и повторять *правду* обстоятельнее, проще. Так и только так обеспечивается победа безусловная».

Михаил Степанович показал ленинскую записку Черномазову. Тот сперва вроде бы несколько стушевался, но ненадолго и с наигранной невозмутимостью, особенно поразившей Михаила Степановича, заявил, что из Кракова некоторые вещи трудно разглядеть, тогда как здесь, в Петербурге, они хорошо видны невооруженным глазом.

Михаил Степанович с великим трудом удержался от того, чтобы не выгнать его из кабинета. Но все же сдержался и сказал только, что указания Ленина обязательны для всех работников редакции, а стало быть, и для секретаря редакции Черномазова. «Или он ничего не понимает, или не желает ничего понимать»,— сказал себе Михаил Степанович после ухода Черномазова.

И на следующий день, встретясь с Петровским, решительно потребовал убрать Черномазова из редакции.

— Настаиваете? — спросил Григорий Иванович.

— Категорически настаиваю! — подтвердил Михаил Степанович.

— Будь по-вашему,— согласился Григорий Иванович.— Сегодня же напишу в Краков и сразу, как получу ответ...

— Нет, немедленно, сегодня же! — потребовал Михаил Степанович.

Петровский попытался переубедить его:

— Терпели год, неделю потерпите.

И тогда предельно мягкий и уступчивый, всегда корректный Михаил Степанович взорвался:

— Тогда я уйду! Оставайтесь со своим Черномазовым!

— Полно вам! — сказал с упреком Григорий Иванович.

И после этого своей властью назначил нового секретаря редакции, а по поводу дальнейшей деятельности Черномазова снесся с Краковом.

Дни Черномазова в редакции были сочтены, но он успел нанести газете еще один, на этот раз очень сильный удар, сумев опубликовать за подписью М. Ф. статью «Для того она существует».

Удар был точно рассчитан. Царское правительство несколько раз закрывало рабочую газету «Правда». Но она тут же возрождалась под иным, слегка измененным названием. Последовательно газета именовалась: «Рабочая правда», «Северная правда», «Правда труда», «За правду», «Пролетарская правда», «Путь правды»...

М. Ф. (то есть Черномазов) в своей статье раскрыл преемственность различных названий газеты и этим дал основание полицейским властям привлечь к ответственности издателя газеты Григория Ивановича Петровского и возбудить вопрос об окончательном закрытии газеты.

Владимир Ильич, получив сообщение обо всех этих тревожных событиях, в своем письме в редакцию назвал сочинение Черномазова «печальной статьей».

И Черномазов наконец-то был выдворен из редакции партийной газеты.

Михаил Степанович, сказавший о Черномазове «не наш человек», оказался полностью прав.

Документальное подтверждение этому сыскалось в архивах жандармского управления. В 1917 году, после

того, как архивы эти выдали свои тайны, стало известно, что Черномазов был платным агентом царской охранки.

Михаил Степанович Ольминский проработал на посту редактора первой ежедневной рабочей газеты от первого номера «Правды», вышедшего 5 мая 1912 года *, до последнего номера «Трудовой правды», закрытой царским правительством 21 июля 1914 года.

Работу в «Правде» Михаил Степанович всегда считал «звездным часом» своей жизни.

Уже много лет спустя Ольминский как-то сказал Анатолию Васильевичу Луначарскому:

— Если хотите знать, то я с наибольшей гордостью, хотя и без тщеславия, вспоминаю те годы, когда руководил «Правдой» в Петербурге. Конечно, руководил ею Ленин из-за границы, но я был его легатом на месте. И это не было простой проформой. Приходилось страшно много работать...

Вместо эпилога

Еще несколько штрихов к портрету героя этой книги.

Михаил Степанович Ольминский был не только талантливым партийным пропагандистом и агитатором. Когда того требовали интересы революции, он становился и прекрасным организатором, проявляя в своих действиях истинно революционную смелость и твердость.

Об этом согласно свидетельствуют все знавшие Михаила Степановича Ольминского.

Вот что пишет один из ветеранов партии — Розалия

* По старому стилю 22 апреля.

Самойловна Землячка, вспоминая о революционных событиях начала грозового тысяча девятьсот семнадцатого года:

«27 февраля, когда Москва выступила па улицы, я буквально побежала к Михаилу Степановичу, к нему первому, в маленький домик в Замоскворечье. Вместе с пим мы прибежали на Покровку № 7, в помещение, которое пам отвели для первого легального штаба московской организации. Очутившись вдвоем в двух пустых комнатах, мы стали раздумывать, с чего начать легальную жизнь. Но раздумье продолжалось педолго. Михаил Степанович разделил наши «функции». Он предложил мне быть секретарем МК (за песколько дней до этого был разгромлен подпольный МК), а себя объявил редактором газеты и тотчас же уселся писать передовицу.

Это был первый номер «Социал-демократа», прекрасной большевистской газеты. Через два часа, когда комнатки на Покровке уже не могли вместить огромного количества собравшихся районщиков, организация имела своего редактора, крепкую передовицу газеты и листовку, которые били по всем врагам пролетарской революции и оканчивались основным лозунгом того момента: «Долой войну!»

Но зтот первый номер газеты и зту первую листовку надо было выпустить в свет. В распоряжении редактора не было ни типографии, ни бумаги, ни денег. Михаил Степанович и тут поступил как истинный революционер. Не имея никакого на то разрешения и не пытаясь получить его от кого бы то ни было, он вместе с членом Московского областного бюро ЦК А. А. Сольцем пришел в частную типографию, занял ее и заявил: «Мы будем издавать здесь большевистскую газету». Через несколько дней этот «самочинный» захват частного предприятия был узаконен Московским Советом, который выдал ордер на занятие типографии.

Первый номер «Социал-демократа» — газеты московских большевиков почти целиком был подготовлен самим Михаилом Степановичем и вышел 7 марта. В нем было напечатано приветствие Московского комитета партии Владимиру Ильичу Ленину как неутомимому борцу и истинному идейному вождю российского пролетариата. Документ исключительной важности. Большевики Москвы — второй столицы России твердо заявляли: они с Лениным.

Партийная деятельность Ольминского не сводилась только к руководству газетой. Михаил Степанович принимал самое непосредственное участие в работе Московского областного бюро ЦК и Московского комитета партии. Его часто приглашали выступать на предприятиях и в рабочих клубах, и он с неизменной готовностью откликался на эти приглашения. Свой богатейший опыт партийного литератора он повседневно передавал своим товарищам, работникам редакций вновь созданных органов большевистской печати — журналов «Спартак», «Интернационал молодежи», газеты «Деревенская правда».

Московские большевики неизменно избирали Михаила Степановича председателем своих партийных конференций, а избирая делегатов на Шестой съезд партии, назвали Ольминского первым своим делегатом.

Ленин, вынужденный уйти в подполье, не мог присутствовать на съезде, и именно Михаилу Степановичу Ольминскому поручено было открыть Шестой съезд Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков).

Ольминский по поручению Оргкомитета открыл съезд и был избран его председателем. Это было наглядным выражением высокого доверия всей партии старейшему деятелю большевизма, вернейшему соратнику Ленина.

Но «с наибольшей гордостью» вспоминал Михаил Степанович на склоне своих дней не этот час признания своих заслуг перед партией, а те дни и ночи, когда, работая в «Правде», помогал Ленину по крупицам собирать силы для грядущей победы.

И в этом весь Михаил Степанович Ольминский. Высокая скромность. Истинное величие души.

Последние годы жизни Михаила Степановича были омрачены тяжелой болезнью. Паралич приковал его к постели и лишил дара речи. И только поистине сверхчеловеческое мужество вернуло его к нормальной жизни. Он заново учился ходить, писать, говорить... И победил тяжкий недуг.

Но на Двенадцатом съезде партии он не смог быть, болезнь еще владела им.

Съезд послал ему сердечное приветствие:

«Дорогой товарищ! XII съезд РКП (большевиков) шлет Вам, одному из пионеров и активнейших деятелей нашей партии, горячий коммунистический привет.

В Вашем лице съезд приветствует всю старую гвардию РКП, в тягчайших условиях царизма закладывавшую фундамент партии российского рабочего класса. Съезд выражает сожаление, что болезнь помешала Вам, т. Ольминский, принять участие в его работах, и выражает глубокую надежду, что в самом близком будущем Вы вернетесь в ряды активных работников РКП».

Он оправдал надежды товарищей. Он вернулся в строй активных бойцов партии, вернулся к благородному делу, которому отдался всей душой, и еще много лет руководил деятельностью Комиссии для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории РКП(б) — сокращенно Истпарт,— возглавлял редакционную коллегию журнала «Пролетарская рево-

люция» и Общество старых большевиков. Вел не прекращавшуюся до последних дней его жизни литературную и пропагандистскую работу.

Михаил Степанович Ольминский прожил не только долгую, но и большую жизнь.

Ему выпали на долю высокая честь и личное счастье быть ближайшим и вернейшим соратником Ленина, в самые трудные годы зарождения и становления великой большевистской партии — партии нового типа, сплотившей народы России вокруг идей коммунизма и возглавившей победоносный штурм старого мира в Октябре семнадцатого...

Дни и годы, когда ему довелось работать под непосредственным руководством Владимира Ильича, ощущая на плече его отеческую руку, были счастливейшими днями и годами его жизни.

* * *

Михаил Степанович Ольминский скончался в ночь с 7 на 8 мая 1933 года на семидесятом году жизни.

Похоронен на Красной площади. Прах его покоится в Кремлевской стене.

Таурин Ф. Н.
Т23 Каменщик революции: Повесть о Михаиле Ольминском.— М.: Политиздат, 1981.— 287 с., ил.— (Пламенные революционеры).

Т $\frac{10202-007}{079(02)-81}$ 245—81 0902030000

84Р7+66.61(2)8
Р2+3КП1(092)

Франц Николаевич
Таурин

КАМЕНЩИК РЕВОЛЮЦИИ

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *А. П. Пастухова*
Младший редактор *Н. Б. Чунакова*
Художник *В. И. Олефиренко*
Художественый редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Н. К. Капустина*

ИБ № 1300
Сдано в набор 18.08.80 Подписано в печать 17.02.81. А 00014. Формат 70×108¹/₃₂. Бумвга типогрвфсквя № 1. Гврнитура «Обыкповенная новая». Печвть высокая. Условн. печ. л. 13,22. Учетно-изд. л. 13,22. Тираж 300 тыс. экз. Заказ № 178. Ценв 1 р. 10 к.

Политиздвт. 125811, ГСП, Москва, А-47, Мнусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уралький рабочий», г. Свердловск, пр. Ленина, 49

Россійская Соціалъ-Демократическая Рабочая Пар

ПРАВДА

ОРГА

Центральнаго

Петербургск

Р.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

№ 26. Пятница.


апреля 1917 г.
№ 8 коп.